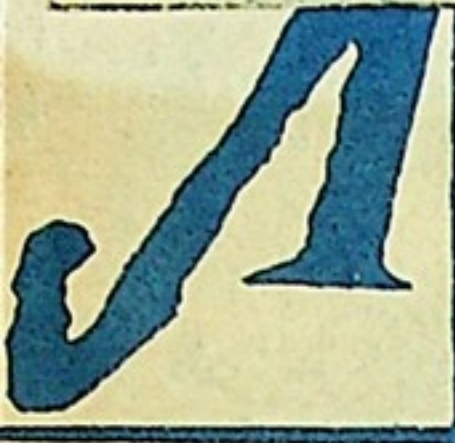


10.335
1990 / 3

ISSN 0150-3600
გეოგრაფიული
გეოლოგიის



ლიტერატურული გეოლოგია

1990

გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას.

გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას. გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას. გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას.

გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას.

გეოლოგია და გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა, რომელიც ადამიანს უწყობს მისი გარემოს შესწავლას და მისი რაციონალურ გამოყენებას.

10.335
1990/3



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Мартовский петух. Роман. Продолжение. Перевод Элисбара Ананашвили	3
АЛЕКСАНДР ТАБАТАДЗЕ. Стихи. Перевод Владимира Пальчикова	98
ИННА ДИВНОГОРЦЕВА-ГРИГОЛИЯ. Стихи	104
СТАНИСЛАС-АНДРЭ СТИМАН. Убийца проживает в 21-ом номере. Роман. Перевод с французского Алексея Дроздовского и Екатерины Дроздовской	106

ПУБЛИЦИСТИКА

ИРАКЛИЙ ГОЦИРИДЗЕ. Частное расследование, или Я заглядываю в сейфы власти. Окончание	150
--	-----

7

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси

Журнал выходит с июня 1957 года

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



- ДАВИД САГИРАШВИЛИ. Оглядываясь назад.**
Вступительное слово Гурама Шарадзе 183

РЕЦЕНЗИИ

- ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Монография об Авентике Исаакяне** 221

* На 1-ой стр. обложки — фрагмент рукописи завещания военного министра Грузинской Демократической республики (1918—1921) Григола Лордыпанидзе, чье письмо, написанное в 1923 г. в камере Ярославской тюрьмы, читайте в № 8 нашего журнала.

МАРТОВСКИЙ ПЕТУХ

РОМАН

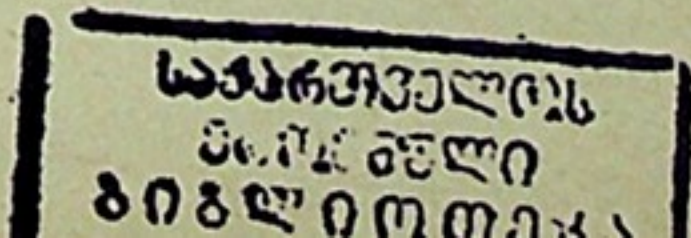
7.

На следующий день пришла мать Гогия с подарками, хотя ясно было видно по ней, что явилась не по хорошему делу: она то и дело беспрерывно хихикала, а глаза ее, как шакалы в клетке, бегали, метались по сторонам на напряженном, настороженном лице. Больному она принесла лимон — освежит рот, отобьет дурной вкус, — а тете розовый атласный лифчик — время, мол, теперь ихнее, им теперь радоваться на лифчики да на трусики. Бабушке не захотелось обижать гостью отказом. Тем более что ни к посещениям ее, ни к подаркам от нее не были здесь привычны. Тетя еще не возвращалась со службы, а Нико чуть не по пояс выскочил из под одеяла, как ватерполист из воды, чтобы поймать на лету брошенный ему лимон. А после этого, само собой ясно, отказываться от гостинцев уже не имело никакого смысла. Но и Нико, подобно бабушке, в некотором возбуждении и даже с испугом ждал, когда же гостья объяснит истинную причину своего визита. По счастью, она недолго заставила хозяев томиться ожиданием: как только кончила раздавать гостинцы, или, вернее, как только решила, что все уже ею подкуплены, объявила без всякой подготовки и предисловий: «Может, ваш парнишка напишет нам в двух словах, что мой сын убил разбойника возле старой церкви».

— Да что ты такое говоришь? — пришла в ужас бабушка.

От волнения она сняла с головы платок и тотчас же надела его снова.

Продолжение. Начало см. в №№ 4, 5, 6.



— Ну да, вот именно! — Не догадавшись о смысле бабушкиного восклицания, гостья продолжала оживленно, с охотой. — Не верят нам, соседка, не верят, чтоб не дожить до завтрашнего дня моим недругам и злопыхателям! Слыхано ли — такое беззаконие! — Вдруг перешла она на свойский, фамильярный тон, хотя у бабушки уже заметно дрожали плотно сжатые, вытянутые в ниточку губы. — Мой жилец, отсохни голова у того, кто его учителем назвал, говорит, это, мол, ликвидация, не вы его убили, а милиция, и мертвое, мол, тело ей принадлежит. Ну, тело нам ни к чему, разве мы тела требуем? А исполком говорит, вы еще должны доказать, так, на слово, запросто, вам, мол, никто не поверит, это требует подтверждения еще больше, чем невиновность. Слышишь ты? Понимаешь? — уставилась она на бабушку, ожидая сочувствия.

— Ничего не понимаю, — собрала лоб в складки бабушка.

Она чуть было не показала на дверь посетительнице, но в последнюю минуту вежливость пересилила, она все же пощадила гостью и обрушила свой неожиданный и тем более поэтому неодолимый гнев на ни в чем не повинного внука: — Спрятать сейчас же руки под одеяло! — прикрикнула она на него с побледневшими губами.

Нико прекрасно понял, на кого сердилась на самом деле его бабушка, но ни словом не возразив, засунул руки под одеяло, прихватив заодно и поднесенный лимон, который покатился по его влажной от испарины груди — прикосновение круглого, гладкого, прохладного плода было очень приятно.

— Вот придет моя дочь, и спросим у нее. — сказала наконец бабушка.

— Ну, ваша дочь... Что она знает, откуда ей знать? — фальшиво рассмеялась мать Гогия. — Кто у старой церкви был — она или он? — кивнула она в сторону Нико так, как будто там было пустое место, а Нико, как и его тети, не было дома, или его пока никто ни о чем не спрашивал.

— Наверно, знает, раз я говорю, — сухо отрезала бабушка.

— Да что это с вами, что вы вскинулись, я ведь не задаром прошу, — надулась Гогиина мать; подбоче-

нясь, она язвительно улыбалась. — Дайте нам сперва наше получить... Я, хоть и бедная, да не жадная, мы тоже умеем отблагодарить...

— Нико! — подняла опять голос на Нико бабушка, потеряв терпение, вконец разгневанная.

Как говорил дедушка, — нашла пониже забор; к лошади не подступиться — так бьет по седлу.

— Господи, да что это за люди такие! — вскричала Гогина мать и не встала, не вскочила, а сорвалась со стула так, словно ее платье охватил огонь.

Но не успела она выйти за дверь, как прибежал ее сынок, распаленный матерью, — как, мол, вы смели отправить ее ни с чем. Он уже с порога принялся ссориться с бабушкой: «Мне наплевать, что он батумский — пусть только попробует при мне, в моем присутствии сказать, что не я убил разбойника!»

— Зачем же ты обозвал меня вчера убийцей? — напустился он на Нико, едва ворвавшись в комнату.

Стоило Нико услышать голос Гогия, как вчерашний ужас вновь охватил его и, так как бежать на этот раз было некуда, он сразу притих, затаился — так притворяется мертвой крыса, когда ей грозит смертельная опасность. И так захотелось вдруг ему смерти, так явственно вообразил он себя лежащим в гробу, бездыханным, ото всех и ото всего надежно защищенным, что у него в самом деле перехватило дыхание и замерло сердце. Такое овладело им чувство, будто он опускался на парашюте с другой планеты, и земля виднелась далеко внизу и казалась не больше птичьего яйца. Никогда не чувствовал он себя более одиноким, более беспомощным, чем в воображаемом гробу. Гроб прежде всего отрезал ему все пути, отнял способность двигаться и явственно показал, какое, собственно, малое пространство ему необходимо было вообще, между тем, как до смерти он нигде не мог найти себе места, не помещался в целом Сигнахи и постоянно чувствовал, как сужаются крепостные стены города с каждым днем, сужаются, сужаются, чтобы в один прекрасный день сойтись и всех раздавить своими каменными ладонями. Видимо, требуют пространства мысль и мечта человека, а не сам человек, который, если понадобится, свободно уместится в спичечном коробке, как майский жук. Нико, во всяком случае, действительно мог бы сейчас уме-

ститься в спичечном коробке и, наверно, гораздо лучше чувствовал бы себя там. Но было уже поздно. Гогия стоял над ним и кричал: «Если я не убил разбойника, то зачем ты назвал меня вчера убийцей?»

— Ах, это ты Гоги! — сказал Нико как можно спокойней, хотя и с колотящимся сердцем.

Но глаз он не открывал — лежал с закрытыми глазами, как его отец в день расставания с ним. И так поступал он не только потому, что ничему другому, могущему защитить его, не научился от отца, — просто с закрытыми глазами ему легче было поверить, что все грозившее ему уже случилось, и впереди его ничего уже не ждет, кроме смерти. Он ни от чего не отказывался из пережитого за эти 15 лет, но это ведь было далеко не все, что он мог пережить. Чего же тебе еще? — возможно, спросил бы кто-нибудь более близкий ему, глубже заглянувший в лари его воспоминаний, и представьте себе, он, быть может, затруднился бы сам выразить, вступить в спор, потому что сразу не мог бы осознать и выразить, чего он еще ждал, чего требовал от жизни, — казалось, он все испытал, все испробовал, но ему все же было ясно: он не приобрел ничего существенного, полезного для тела или для души, остался таким же нищим, каким явился на этот свет. Более того, он не только не приобрел, не прибавил ничего к духу или плоти, но напротив, навсегда утерял унаследованные, полученные из утробы матери свойства, признаки, которые отмечали всех его близких — родовые эти свойства растворились среди множества иных, навязанных жизнью, необходимых в какое-то данное мгновение и сразу потом забываемых качеств и признаков, которые не подчеркивали, не высветляли его родовую принадлежность, его «я», а преобразовывали в соответствии с временем и окружением, вернее, позволяли ему сопротивляться влиянию среды и времени, преодолеть его, защититься, уцелеть — еще раз уцелеть, в первую очередь уцелеть, а потом удовлетворить потребности своего животного естества, поскольку это единственное, что необходимо и достаточно любому живому существу, чтобы не уничтожиться, не пропасть самому — щадить других значит лишь изменять себе; но открытие, осознание этой истины не только не вдохновляло Нико на борьбу, а наоборот, вселяло в него со-



мнение — стоило ли вообще рождаться, если иначе, то есть, щадя других, он не мог ни одолеть жизненный путь, ни сохранить чистой свою душу. Но главное несчастье было в том, что никакого облегчения, никакого блаженства не доставляло ни духу его, ни плоти каждое очередное избавление. Напротив того, еще сильнее, еще беспощадней овладевали им страх и тоска — если не что-нибудь другое еще раньше — должны были когда-нибудь в грядущем прикончить его, впрочем, не столько сами страх и тоска, сколько ненависть к ним, к страху и тоске, ненависть, быть может, и детская, но... нет, не «но», а именно потому неудержимая, неодолимая, все перевешивающая, так как никакое иное чувство, кроме страха и тоски, не связывало его с теми, кто был ему дороже самого себя. Он не мог просто, обыкновенно, безыскусно, без преувеличения и фантазий думать об отце, хотя бы потому, что предстояло еще даже попросту выяснить, ждет ли того спасение или гибель. Точно так же не мог он с естественным блаженством, с всеоблегчающей верой представить себе мать, так как в глубине души чувствовал — и это было самое недоброе, нечеловеческое чувство, — что мать не помнит о нем, что матери не до него. А причиной всего было то, что гнев Божий поразил весь мир и, конечно, в том числе их семью — рок обрушил на них удар своей тяжелой лапы, и Нико, как самая слабая и незначительная частица семьи, легко оторвался от главного ее ядра, наподобие того, как отваливается от тела ящерицы ее хвост; и вот он, Нико, поистине как хвост ящерицы, болтается среди травяных зарослей судьбы, далеко-далеко от родителей, настолько далеко, что и глаз не может раскрыть — ожидая от них защиты, — чтобы смелее взглянуть на нагрянувшую беду, выяснить для себя, показалась ли эта беда столь страшной и беспощадной из-за воспринятого от отца добровольного самоослепления, или она действительно была так ужасна, эта беда, — все тот же Гогия, племянник убийцы и сам убийца, который стоял сейчас над постелью Нико и (что и пугало, что и выбивало в особенности больного из колеи) требовал от него не отрицания, а наоборот, подтверждения совершенного перед его глазами убийства.

А Нико лежит со сложенными руками, закрыв глаза, и это для него настолько необычно, непривычно,



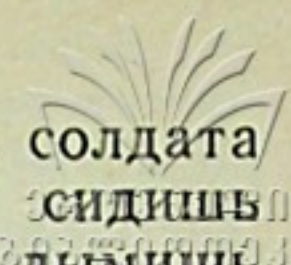
неестественно, что он уже кажется самому себе действительно мертвецом — его как бы уже отнесли на кладбище (куда-то далеко, как можно дальше от Гогня), и кладбище это утопает в зелени, пышная, вольно разросшаяся растительность заполняет все вокруг. Над множеством всевозможных кустов и пестрых цветов порхают тысячи разнообразно расцвеченных бабочек. В густой листве раскидистых деревьев щебечут птицы. По наблюдениям Нико, на кладбище особенно четко, звонко раздаются птичьи голоса. Большая, пестрогрудая птица, должно быть, душа округи, «мать места», сидит на верхушке кипариса и что-то время от времени отрывочно высвистывает — словно не птичью песню поет, а отдает короткие, деловитые распоряжения властным, сильным голосом. На клонящемся стебле травы раскачивается зеленый кузнечик с выкаченными глазами, — словно хочет лучше рассмотреть покойника, то есть, Нико. А ему, Нико, уже прекрасно известно, почему все так случилось, но ведь раньше, до того, как умереть, он был всего лишь мальчиком, подростком, жаждал жизни, по ночам грезил о красавицах, плохо разбирался в друзьях и врагах и старался держаться от тех и других подальше, потому что благодаря другу приобрел врага, а стараниями врага прежде всего лишился друга, стал ему чужим. И все же Нико то и дело поглядывает на дорогу, все надеется, все мечтает об одном: чтобы в последнюю минуту, в тот единственный оставшийся миг перед тем, как его опустят навеки в могилу, примчалась, прилетела мама, прилетела вне себя от тревоги и горя, с платком на голове, как тогда, в Батуми, когда она прибежала к булочной и в самую последнюю минуту подхватила с земли оледеневшего, теряющего сознание сына. Но, по-видимому, на этот раз ожидание Нико будет обмануто. В конце концов, сколько раз можно обмирать, надеясь на спасительное появление мамы? То время давно прошло. Изменилось время, изменился и сам Нико. И, разумеется, мама. А кладбище все сверкает, залитое ярким солнечным светом. Чирикают птички, порхают бабочки, пестреют, покачиваясь на стеблях, разнообразные цветы. Словом, можно подумать, что все вокруг разукрашено нарочно. Наверно, для того, чтобы покойнику не стало очень грустно, чтобы он не сказал: эх, куда это меня принес-

ли, а напротив, чтобы подумал — да здесь гораздо лучше, чем там, где я был. Но Нико вовсе и не склонен успокаиваться. Наоборот, чем дальше, тем больше он приходит в волнение; ожидание чего-то непонятного, неопределенного, но чрезвычайно важного мучит его, он встревожен, взвинчен, как тогда, в больнице, в день прощания с отцом. У него сейчас такое чувство, будто он так недвижно лежит со дня своего рождения, и даже лежал так до того, еще раньше, всегда, бесконечно, словно быть простертым так, недвижно — это его главное, отличительное свойство, и он лежит с закрытыми глазами и руками, сложенными на груди, хотя и сам не знает, зачем и до каких пор он должен оставаться в таком положении. От неподвижного лежания у него болит все тело, но он упрямо терпит боль, словно так нужно, словно пережитая любовь, перенесенный страх и память о разлученных с ним родителях велят ему так лежать. Или, напротив — именно наперекор любви, страху и памяти о родителях он ни во что не ставит жизнь — сознательную жизнь, рожденную не из материнской утробы, а из бездны беспомощности и одиночества, вскормленную хлебом мрака и пустоты, источающую, в отличие от настоящей жизни, не запах молока и слез, а зловоние сырости, гнилых корней и заброшенных крысиных нор. Но при этом он сознает также, что эта неожиданная прихоть или потребность, это совершенно бесцельное и беспричинное его окаменение придает ему самому определенную значительность, нагружает его некоей мыслью, правда, еще до конца не разгаданной, еще непоименованной, но все же значением и мыслью, отчего и враги и друзья чувствуют стеснение и обращаются с ним почтительно. — «Почему он лежит с закрытыми глазами?» — спрашивает бабушку несколько смущенный, не ждавший такого приема Гогия. — «А он все время так», — отвечает бабушка. Но Нико больше не в силах лежать с закрытыми глазами. Эта добровольная незрячесть не помогает ему, а еще больше волнует, ввергает в смятение. От напряжения он, кажется, вот-вот лишится чувств. Так было с ним и тогда, в Батуми, в больнице, когда он прощался с отцом, только тогда его растерянность была вызвана добровольной слепотой отца, из-за которой все там казалось ему еще более чужим, чем на самом деле, не-

понятным и неприемлемым: сама больница, больные, неубранные, разбросанные постели, встревоженные, испуганные лица, внезапные, скребущие голоса, непривычный, ни с чем не схожий, неожиданный и неповторимый запах... Все, все, от чего отец сознательно отгораживался, лежа с закрытыми глазами. А сам он, затерянный во мраке отцовской незрячести, неверно, искаженно и обостренно воспринимал и отца, лежавшего с закрытыми глазами (чтобы скрыть волнение, наверно), и тетю, как-то неуверенно примостившуюся на табурете (ничем не напоминавшую «опору в беде», «небом посланную героиню», как назвал ее папа в тот день), и маму в накинутом на плечи белом халате, которая здесь, в беспорядке этой палаты, держалась оживленней и решительней, чем дома, с сыном... — «Оставьте нас одних», — сказал вдруг папа, и мама и тетя (между прочим, и Нико) сразу догадались, с кем он хотел остаться наедине. Обе тотчас же встали и вышли из палаты, но мама, прежде чем закрыть за собой дверь, на мгновение оглянулась на сына, словно даже хотела что-то ему сказать, хотя вполне возможно, что Нико это показалось, так как очень уж ему хотелось, чтобы в эту минуту рядом с ним был еще кто-нибудь близкий, родной — простертый на спине, с покоящимися на груди руками и закрытыми глазами, отец казался чужим, вызывал в нем замешательство, пугал его, и все его существо с яростью глухонемого восставало против существования такого отца. Но тот явно существовал. Лоб у него был усеян крупными каплями пота, он тяжело дышал и временами неожиданно какая-нибудь жила или мышца вздрагивала на его лице. У изголовья кровати на столике часто и четко тикали его наручные часы, отсчитывая секунды и минуты этого необычайного поединка отца с сыном — секунды и минуты, навеки соединяющие или навеки разлучающие. Во всей больнице слышалось лишь тиканье маленьких папиных часов. Рядом с часами на столике стоял стакан с водой, лежали термометр и завернутая в бумажную салфетку (плохо завернутая) котлета — вся покрытая остывшим жиром, как белым инеем. Как бы ни держал Нико себя в руках, какие бы ни обуревали его чувства — но при виде этой котлеты рот у него сразу наполнялся слюной, и от царившего в палате чужого запаха

внезапно выделялся слабый, но заметный, знакомый, памятный с времен короткого детства аромат только что снятой с шипящей сковородки горячей котлеты, хотя в те прежние времена он никогда не обращал особого внимания на этот запах и не думал, что помнил его. И в то же время разум его, стоявший выше чувств и ощущений, работал изо всех сил, он мог перегореть, разлететься на куски, если бы не разгадал, к чему должно было привести это уединение, почему отец именно его оставил с собой наедине, хотел ли рассердиться на него (но в чем он провинился?) или, наоборот, похвалить за то, что он помогает маме, что «вся семья на его плечах». Но разве он заслуживал похвалы? Что он делал особенного, такого, чего не делали другие мальчики, его ровесники? Впрочем, вполне возможно, что мама все-таки рассказала папе о том, как он потерял хлебные карточки, и папа считал себя обязанным сейчас — правда, с опозданием, но, поскольку другого удобного случая могло теперь еще долго не представиться — сделать выговор сыну, напомнить ему, что он уже не маленький и что нет для человека ни оправдания, ни прощения (независимо от возраста), когда этому человеку поручены чужие судьбы. Но Нико и сам прекрасно знает, в чем он виноват и чего за это заслуживает — он до сих пор отбывает наказание, которое сам себе назначил: вот уже три месяца как ни крошки хлеба не было у него во рту. Свою долю хлеба он отдает дяде, тетинному мужу, который наподобие египетского раба с утра до вечера роет посреди двора землю, чтобы устроить убежище, и от этого бессмысленного и безрезультатного труда (чем больше он достает земли, тем больше скапливается на дне ямы воды) совершенно обессилен. А Нико все это время довольствуется одним чаем — кипятком и палец, обмакнутый в соль — вот все его пропитание. Но он не мог спастись, уцелеть, если бы не подверг себя такой каре; не смог бы верить, что он достоин жизни — и не он один, а вообще человек. От напряжения у него звенит в ушах, он обливается потом, он не знает, что думать, так как, что бы он ни думал, все равно ничего не изменится. А часы часто-часто тикают, отец молча, не раскрывая глаз, мучается, на лбу у него крупные капли пота. Одна такая капля скатилась с брови в глаз, потом из уголка глаза — на висок

и затерялась где-то под мочкой уха. Быть может, это была слеза? Нет. Похожа была на слезу и скатилась по пути, который проходит слеза — потому и ввела Нико в сомнение. Отцы не плачут. Отцы не должны плакать. Когда плачет мама, и это ранит сердце. Но маме как-то естественнее плакать, ей это даже к лицу. Слезы делают мать сильной, придают ей всемогущество. А отца слезы, наоборот, делают слабым, жалким, унижают, обесценивают. Женские слезы возвещают еще одну, большую или малую битву: что-то должно случиться и поэтому все должны быть готовы ко всему; но когда плачет мужчина, ничто уже не имеет смысла и цены: ни твердость, ни упорство, ни терпение, ни надежда, так как все сражения уже проиграны, меч переломлен, шлем расплющен, щит разодран, жена опозорена, сын уведен в рабство, словом, это конец семьи, если не всего света. И поэтому Нико предпочитает, чтобы эта блестящая, медленная капля была каплей пота, а не слезой. «Папа! — говорит он в душе. — Папа...» Словно напоминает самому себе, что этот человек с зажмуренными глазами — ближе всех ему, что они — одна плоть и одна кровь, что они когда-то были едины и снова когда-нибудь объединятся в чем-либо существе. Но по слепой ли случайности, благодаря ли всесветной беде, или еще по каким-то иным, совершенно непонятным Нико причинам, рухнувший мост никак не восстанавливается, чувство отчуждения не покидает Нико и он тщетно, в сердцах на себя, упорно, настойчиво повторяет в уме: «Папа! Папа! Папа!» — как оглохший от рева снарядов связист — название внезапно замолкшей, но крайне необходимой станции. В палате царит могильная тишина. Слышно только тикание часов. Впрочем, нет, — порой стонет больной на кровати у стены — он покрыт одеялом с головой, отчего голые, желтые ступни его торчат из-под другого края одеяла. Но тикание часов и редкие стоны неизвестного больного еще больше подчеркивают глухую тишину больницы, и это невыносимое безмолвие словно давит потными руками на шею Нико, силится пригнуть его голову, и Нико сопротивляется изо всех сил, хотя, если сейчас не произойдет что-нибудь, если вдруг не появится подмога, спаситель, он, возможно, и не выдержит, убежит отсюда без оглядки, как его дедушка убежал когда-то из



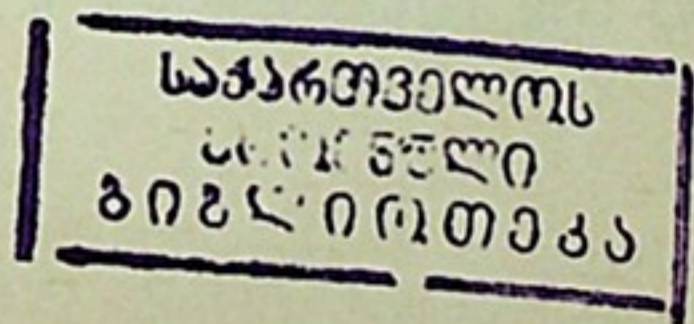
окопа. Впрочем, Нико уже знает, что доблесть солдата — именно в терпении и преодолении страха: ^{сидишь} на дне окопа, уткнувшись головой в колени, ^{дымишь} толстой, по-солдатски — или хоть по-крестьянски — свернутой махорочной самокруткой, зажатой в кулаке, словно живое существо, только что пойманное на дне окопа — и действительно, она, эта самокрутка, и есть в данную минуту самое живое создание, и жаром ее пронизано сейчас все твое тело. Затянешься так, что обожжет ладонь и мизинец, набрякнут — как приятно! — жилы, одурманил голову, наполнит легкие, согреет нутро горький, густой, теплый дым. На опущенную голову твою сыпется земля, враг собирается заживо тебя похоронить. Порой запустит камешком, попадет в твой шлем, проверит — жив ты или нет. А затягиваешься махоркой и, заходясь от страха, с мутью в глазах, думаешь: «Главное — сидеть вот так, не шевелясь, главное — пересидеть, перетерпеть». Потому что тот, кто не смог вытерпеть, валяется на бруствере с раскроенным черепом, с разmozженным лицом, с разодранным горлом. Так что, бегство — не спасение. Надо сидеть и терпеть и ждать, раз ты больше ничего не можешь сделать. И Нико сидит и ждет. А отец лежит все так же, с закрытыми глазами, словно проверяет способность сына к терпению, силу его воли (или, может быть, он просто заснул?). Лицо его заросло щетиной. «Небритый», — замечает Нико. Обратил он на это внимание только сейчас — какое-то чувство, похожее на удовлетворение, овладевает им, оттого что он как бы установил хоть самую незначительную, хоть чуть заметную связь с лицом отца. В прежние, лучшие времена, насколько он помнит, отец был всегда свежевыбрит — утром, среди дня, вечером — так что казалось, он только что вернулся из парикмахерской. И всюду его сопровождал сильный, свежий запах безукоризненной чистоты. А сейчас он лежит с закрытыми глазами, небритый, и, разумеется, не спит — что-то беспокоит его, затаенное, таинственное. Легкая тень пробегает время от времени по его потному лицу, и голова его чуть вскидывается на подушке, точно палата тронулась вдруг с места, как поезд. — «Эта котлета — тебе, я отложил ее для тебя. Возьмешь на дорогу», — говорит он спокойно, не раскрывая глаз. Нико не отвечает — неясно, обращается

ли папа к нему или бредит в жару. Он сидит в напряжении, затаив дыхание, и, хоть и не сводит взгляда с отцовского лица, однако самым уголком глаза видит и ее, подернутую застывшим жиром, как инеем, котлету. Невиданное диво тех времен, чудесную, вожделенную, редкостную приманку для всякого живого существа. — «Ты слышишь?» — спрашивает отец, не размыкая век. — «Да... да», — растерянно, торопливо отвечает Нико. — «Так слушай хорошенько и запомни», — продолжает папа, по-прежнему с закрытыми глазами, так, словно стыдится сына и не решается взглянуть ему в глаза оттого, что лишил его своего покровительства, поручил заботам других. — «Возьми сперва эту котлету, — вскипает он вдруг, даже повышает голос; но глаза у него по-прежнему закрыты. — Котлета твоя, сказал же я тебе. Возьми». Нико, естественно, голоден, и этот знакомый запах, напоминающий о прежних, лучших днях, щекочет, возбуждает его, но он и смотреть не хочет на котлету. Ему кажется, что, взяв эту котлету, он совершит неслыханное злодеяние, и однако безропотно встает со стула, плотнее заворачивает ее в просаленную бумагу, осторожно засовывает в карман брюк и возвращается на прежнее место. Только сейчас он сидит в неудобной позе, протянув вперед одну ногу, чтобы не раздавить котлету в кармане. — «Больше у меня ничего нет, — говорит папа. — Помнишь? — спрашивает он вдруг, и лицо у него понемногу проясняется, еле заметная улыбка мелькает на запекшихся, потрескавшихся от жара губах (впервые сейчас замечает это Нико) — Помнишь?» — повторяет больной с детским нетерпением, волнуясь. Кажется, он даже собирается раскрыть глаза — во всяком случае, веки у него задрожали, зашевелились. Нико лишь кивает ему в знак согласия и почему-то вспоминает тот день, когда, вернувшись с базара, они пустили якобы уснувших рыб в ванну. Он даже видит мысленным взором оживших рыб — рядышком, в паре, скользят они, плескаясь в пенящейся воде, вяло, как бы нехотя, безвольно шевеля хвостами и плавниками. Возможно, отец хотел, чтобы он вспомнил о чем-то другом, но ни у одного из них не появилось желание уточнить, о чем именно. Да это и не было нужно, так как все, что могли бы вспомнить в эту минуту оба они или один из них, непременно было бы связано

с их общей, совместной жизнью. И главное было не вспомнить что-то, а осознать, осмыслить, прочувствовать, что еще недавно у них была общая, совместная жизнь и что оба они были одинаково счастливы, настолько счастливы, что могли сотворить чудо, оживить мертвых. Именно это хочет сказать отцу Нико: «Я был счастлив». Но он смущается, стыдится произнести это слово, как будто признать, что ты некогда испытал счастье, пережил счастливые минуты, в особенности при отце — это непростительная слабость, ребяческое слюнтяйство. Но воспоминание об оживших рыбах как-то успокаивает, взбадривает его, чувство потерянности рассеивается, он больше не напряжен, как прежде, и вся обстановка кажется ему не столь удручающе непереносимой, хотя нога, которою он постоянно ощущает округлую твердость и холодок засунутой в карман котлеты, у него по-прежнему неловко вытянута во всю длину — так, как будто она вообще не сгибается в коленном суставе. Чувствует он также, что главное еще впереди, что отец еще не сказал того, что имел в виду, когда велел ему остаться, но он уже готов выслушать что угодно, и уверен, что все постигнет, поймет до конца этого непривычно небритого, непривычно обливающегося потом, сотрясаемого недугом человека, потому что за этой некрасиво отросшей щетиной, за этим болезненным потом, за этим горячечным беспокойством четко вырисовывается перед Нико (да и как можно было бы забыть об этом?) неизмеримо любимое, дорогое, близкое лицо волшебника, поирателя смерти и дарователя жизни, чудотворца... отца! А часы тикают, больной по соседству, перевернувшись к стене и накрывшись с головой одеялом, все стонет. Неприятно выглядывают из-под одеяла его желтые ступни. Пятки у него заросли белым грибокком.. На этот раз у него оголилась и спина. Кальсоны сползли до места, где начинается складка между ягодицами. Но ему уже все безразлично, он на все согласен, лишь бы жить, лишь бы изредка вот так душераздирающе стонать. — «Значит, так. — говорит папа. — Слушай меня и запоминай». Лицо у него пылает и совсем мокро от пота, видимо, жар у него усилился, к тому же он, наверно, волнуется, для него это немалое переживание — впервые разговаривать с сыном, как с равным, с единомышленником, наконец — как

мужчина с женщиной. То, о чем им приходилось разговаривать до сих пор, было несерьезно, незначительно, как неважны разговоры на рынке с торгующими крестьянами об их товаре или шутки, которыми обмениваются с продавцом в шашлычной. Сейчас совсем другое. Нико понимает это и нетерпеливо ждет, он весь превратился в ожидание. За эти два года дети так много видели и столько узнали, что во многом опередили своих родителей и учителей. В конце концов можно ведь приобрести знание и не из книг. Но Нико еще не понимает, что такое знание вредно, что оно от лукавого, служит злу, так как прежде всего унижает родителя и учителя в глазах сына и ученика, отнимает у обоих ореол божественности — как будто тот и другой всего лишь обыкновенные люди; в самом деле, разве мыслимо испытывать жалость к родителю или смеяться над учителем? Немыслимо, нельзя, но приобретенное на улице знание толкает тебя на это, — ты знаешь, что он также, как ты, испытывает голод, боль, страх, что он входит в туалет, для того же самого, что и ты. — «Быть может, пока еще не время, но Бог весть, когда еще мы свидимся, — говорит отец. — Если ты пока еще не поймешь, не беда, не огорчайся. Главное, чтобы ты запомнил, а в свое время поймешь, все тебе станет ясно», — глаза у отца закрыты, голос дрожит, не подчиняется ему, и от этого между словами возникают досадные, раздражающие паузы — невольные, неестественные, неожиданные. Видимо, он сам это чувствует и потому еще труднее ему говорить. Но и остановиться нельзя, до каких пор им играть в молчанки в этой неприбранной палате? И время у них ограничено, через каких-нибудь несколько часов сын его должен впервые выйти на бесконечную дорогу жизни, и Бог весть, пройдет ли он эту дорогу до конца? Или, иначе, вернется ли к исходной точке? Это зависит только от путника, а не от пути — дорога потому и называется дорогой, что длится бесконечно, до всего достигает, как мысль, все минует, как время, и добросовестно исполняет донныне свое предназначение: обвила кольцом, как дракон, весь мир, держит собственный хвост в зубах и спокойно спит, ибо нет ничего для нее неожиданного, остерегающего, неиспытанного, непредвиденного. Не всполошат ее ни звук шагов, ни топот копыт, ни громыхание колес — она

спит летаргическим сном, потому что все для нее ясно и непреложно, голова у нее там же, где хвост, она начинается там же, где кончается, а если кому-нибудь еще надо выяснить, узнать и про то, и про другое про начало и конец — пусть он идет и идет по дороге до тех пор, пока из пасти дракона не вернется в пасть дракона. Но разве его сын осилит такой путь всего лишь с одной холодной котлетой? Должен осилить. Иного пути у него нет. И поэтому он, отец, обязан всеми силами поддержать на пути своего сына. Сбереженной из больничного пайка котлеты недостаточно для этого, и с добровольной слепотой тоже долго не просуществуешь. Прежде всего сын его должен знать правду; он должен в первую очередь знать, что представляет собой отец, знать, что ему принадлежит, а что не принадлежит, знать, на что он способен, а на что — нет, или еще — сможет ли пройти жизненный путь с чистой совестью, или другие поведут его, куда хотят. — «Знай, ничем я тебя не попрекаю, ни к чему не обязываю. Знать это просто необходимо. Я не хочу, чтобы ты неверно судил обо мне, — говорит отец и, после короткого молчания, продолжает: — а впрочем, напрасно я пугаю тебя, собственно, говорить и не о чем. Ты сам прекрасно знаешь, что дважды два — четыре. И все же, пусть это останется между нами, мама не должна знать. Это только наше, мужское дело». Нико напрягается еще больше, вновь пропадает у него с трудом восстановленное было чувство близости, кровной связи с этим обросшим бородой, залитым потом, отвергшим дневной свет больным. Опять у него звенит в ушах, опять затуманивает мозг густой, клейкий туман неясности, двусмысленности, бессмыслицы. Вновь овладевает им неодолимое желание, потребность бежать отсюда, и по-прежнему он ждет без надежды, когда же вернутся мама и тетя, или хотя бы поднимется, сядет на постели стонущий сосед — ждет все равно чего, лишь бы не сидеть таким подавленным, в таком напряжении здесь, у отцовской постели, в палате, пронизанной запахом беспомощности и обреченности. Ладони у него вспотели так, что он не может упереться ими в кромку стула — скользят, срываются. И вдруг ему вспоминается тот день — вернее, тот поздний вечер, когда его мать, вернувшись из больницы, рассказала ему — бессвязно,



путанно, словно какую-то слышанную на улице историю — как его отец хотел выброситься из больничного окна и как, едва добравшись, доковыляв до него, повернул назад. «Сыну не решился изменить», — сказал будто бы тогда отец маме, но мама рассказывала об этом так (смеясь и плача), что Нико и верил, и не верил ей, она оставляла ему возможность (щадя) счесть вообще всю эту историю выдумкой, вздором. Но если что-то похожее случилось в самом деле, разве это свидетельствует о слабости отца? Напротив, это доказывает именно его силу. Ради кого-то другого, хотя бы ради сына, отказаться от вечного покоя, от полной, неограниченной свободы, от смерти, после которой не нужно брить бороду, обливаться потом, метаться в горячке... Но, по милости Божьей или по Божьему велению, почти уже добравшись до рубежа этой поистине сказочной, поистине обетованной страны (Нико невольно бросил взгляд на окно, заклеенное накрест полосками марли), ты возвращаешься назад, теперь уже по своей воле, торопливо, спотыкаясь, и, пока доберешься до постели, дважды по пути чуть ли не теряешь сознание — и поступаешь так только потому, что думаешь о сыне, не можешь изменить сыну, не хочешь, чтобы он сказал: «Сам нашел для себя избавление, а меня оставил без защиты, бросил в зубы этому убийце Гогия».

— Думаешь, не знаю, на что ты обижен? — сказал вдруг Гогия, и Нико от удивления вытаращил глаза. Почему-то он был уверен, что и появление Гогия произошло лишь в его воображении. Но вот, Гогия сидел в его комнате, перед его печкой, на его стуле. И даже не сидел, а развалился по-барски и, протянув ноги к печке, сушил свои раскисшие, сопревшие сапоги у огня. И такой густой пар шел от его ног, что сначала Нико едва смог различить его лицо. На подошве одного сапога налип размокший, замусоленный окурок. — Думаешь, не знаю? — повторил он с притворной, вкрадчивой беззаботностью, так, словно говорил только из вежливости, чтобы развлечь больного.. Но от сдерживаемого волнения голос у него то и дело срывался и неприятно хрипел. — Будь я проклят, если это не Лео придумал... Заладил — давай проучим его, очень уж задается. А Лео, ты знаешь, если сказал, все, не успокоится, пока не сделает... Вот и не успокоился. Руку ты ему вывих-

нул? Вывихнул. Велосипед ему сломал? Измолотил. И еще сам же дуешься, это дело? Тебе ж только чуть-чуть колено оцарапало... — (сам он прижимал к груди перевязанную руку, словно самодельную тряпичную куклу, и если не знать, в чем дело, можно было принять его за слабоумного, которому годы не прибавляют разума — уже взрослый, а все в куклы играет).

— Правда, что ты женишься на Лео? — спросил Нико и поспешно зажмурил глаза, снова замкнулся в слепоте, как в наиболее надежной в эту минуту крепости.

— Ты... знаешь, ты... в самом деле... укороти немного язык... — растерялся, потерял дар речи Гогия.

— Так говорят, — сказал Нико спокойно.

Глаза у него были закрыты, но сердце бешено колотилось.

— Кто же, кто говорит? — вскинулся Гогия. — Может, и нам можно узнать, если это денег не стоит?

— Кто? Да сам Лео. С другими, говорит, я так, для развлечения, а замуж, если пойду, так только за Гогия, — насколько мог невозмутимо сказал Нико, хотя сердце у него замирало от страха, как бы Гогия не стукнул его чем-нибудь по голове. — Очень, говорит, мы подходим друг к другу, — продолжал он, распляясь от собственной смелости. Но глаз упорно не раскрывал, чтобы легче было договорить до конца все, что было нужно, не пощадить слушателя (в отличие от своего отца). — Я думал, кольцо, что ты стянул вчера с пальца у мертвого, тебе понадобилось для обручения с Лео, — добавил он как бы между прочим, лишь для того, чтобы подкрепить сказанное раньше.

Тут Гогия не вытерпел, сорвался, как давеча его мать, в бешенстве с места и потянулся здоровой рукой к дровам, что были свалены под пэчкой. Но в эту самую минуту вошла бабушка. Гогия выпустил из рук полено и прохрипел с перехваченным от ярости горлом: «Погоди, выйдешь еще на площадь!»

— Молись, чтобы я долго еще не вставал с постели, — отозвался Нико, чувствуя себя гораздо увереннее, но все еще не открывая глаз, хотя ему было трудно лежать зажмурясь, — не помогала, а лишь еще пуще бередила его эта добровольная слепота, перенятый по наследству от отца способ или метод борьбы против внешнего мира. Ведь в воображении все (в том

числе, конечно, и Гогия) казалось гораздо страшней и опасней, чем оно, возможно, было в действительности.

Но что он знал твердо сам, в чём он был твердо уверен, беря на себя смелость судить других? Ведь могло же другим нравиться то, что не нравилось ему, казаться правильным то, что казалось ему неправильным, порядочным то, что он считал непорядочным? Законы пишут, вероятно, единицы, но действует всегда тот закон, который устраивает большинство. Кое-что, конечно, ему приходилось слышать о жизни. Скажем, от дедушки, бабушки, Иосебы или дяди Сандро. Но то, что он слышал, не учило его жизни, а внушало любовь к ней. К тому же жизнь, которую они прожили, и любовь, к которой невольно прививали Нико, больше не существовала, это была уже ушедшая в прошлое, оконченная жизнь — и притом кем-то правомочным отвергнутая. А Нико пока что, наподобие того бездомного пса, что лаял в чужих дворах, — бродил в чужих жизнях, там же зализывал царапины или поврежденную лапу, а собственной подстилки и кости, или собственной жизни, разумеется, не имел — из всеобщей, единой жизни он пока еще не успел выделить свою, ему назначенную долю, и поэтому общая, всесветная жизнь простиралась вокруг него, как однообразное, равномерно по всей протяженности опаленно-желтое поле. Оно, это поле, жужжало, стрекотало, клохтало, щебетало, пищало, свирестело, — но ничего живого на нем не мог различить глаз: жизнь таилась, пряталась, всячески скрывала себя. На первый взгляд это было обычное, ровное, бескрайнее поле, а на самом деле на всем этом необозримом пространстве тысячи разнообразных насекомых, пресмыкающихся, животных и птиц строили и разрушали свой мир, свое существование, обретали и теряли, любили и ненавидели, забывали и запоминали, умирали и вновь, все усиленнее нарождались — для того, чтобы так же немолчно могло жужжать, стрекотать, клохтать, щебетать, пищать, свирестеть необозримое поле. И, глядя на это поле, одержимый страстным желанием разгадать все его тайны мальчик — нет, не мальчик, а пятнадцатилетний человек, еще глубже уходил в свои мысли, еще явственнее, еще живительнее представлялось ему то, что представлялось. Но главным несчастьем Нико было то, что с самого начала была



отнята у него жизненная сила, жизнеспособность; потрясенный некогда воображенными зловонной сыростью и мраком отхожей ямы, он утратил то, что вынесено было им из материнской утробы, то, что воистину было его неотъемлемой собственностью, потому что без жизнеспособности не рождается ничто на свет, способность эта даруется самим рождением, подразумевается в нем — будь ты насекомое или человек. Но Нико был выброшен из гнезда родителями до того, как успел опериться — а с неоперившимися крыльями он, естественно, не мог долго держаться в воздухе, рано или поздно — и скорее рано — он должен был свалиться, грохнуться оземь, и так оно и случилось. Но ведь Нико вовсе не хотелось тогда вылетать из родного гнезда — он оказался вынужденным это сделать. Вернее, это его родители были вынуждены так поступить, ибо разбушевавшаяся война грозила сбросить с ветки их единственного птенца вместе с гнездом. Вина Нико была лишь в том, что он послушался своих родителей. Но разве человек всегда поступает так, как хочется ему самому? Чаще всего ему приходится делать то, чего он, если бы от него зависело, никогда бы не сделал. И поступает он так не только потому, что боязлив и уступчив от природы, а просто, чтобы не погибнуть понапрасну, прежде времени, не оставив следа, чтобы успеть, если не совершить, то хоть высказать что-нибудь стоящее. Поэтому, как говорит Маргарита, надо жить до самой смерти, надо не покоряться смерти, надо все время идти ей наперекор, все время с нею, как этот ветер воюет со всем миром, если хочешь своевременно понять, на что ты способен, и вовремя приняться за дело, которое должно обеспечить твое существование до смерти и сохранить память о тебе после нее. Этот ветер — разве он будет дуть вечно? Он тоже умрет, то есть стихнет, рано или поздно — но не успокоится до тех пор, пока не рассеет или не нагонит туч, пока не насытит плодородием или не принесет бесплодие земле, пока не сменит одного времени года другим, наконец. Еще немного, и желания его будут исполнены. Февраль — последний месяц зимы. И поэтому — самый суровый. Приближение конца разъяряет его. Он знает, что все кончено, что ему уже ничто не поможет, и всячески старается насолить, напакостить миру, ос-

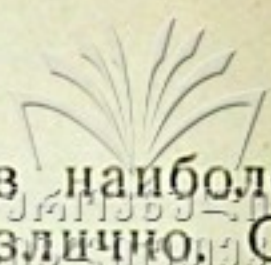
тавить о себе долгуя память. Как будто его не забудут немедля, как только солнце выглянет из-за туч. Но до этого еще остается немало времени. Люди рыскают по лесу, собирают валежник, хворост для печей. Озябшие дрозды клюют снег. Хорошо тем, у кого дрова не переводятся. Сидят целыми днями у печи, греют себе бока. — «Отодвинься немного, милая, не обожгись!» — «Ну и растопили вы, нагнали жару!» На днях и дедушка привез дрова. Пока они были навьючены на осла — казалось много, а как свалили на землю, вышло вдвое меньше. — «Совсем сырые!» — сказал дедушка. — «Да что ты, добрый человек, это же граб, где ты такие дрова найдешь, да еще по такой цене!» — рассердился продавец. Что дрова хороши, это и дедушке было ясно, иначе он и даром бы их не взял, не внес бы в дом. Дедушка, если что-нибудь купит, так только хорошее, пусть мало, но чтобы было отменного качества. — «Это он не от недостатка средств, а потому что не может ничего по своему вкусу найти», — шутит бабушка, когда она сердита на дедушку. А дедушка вправду любит похвалиться своей покупкой — раз десять всякий раз похвастанется — вот, мол, не иначе, как меня товар дождался. Продавец дров был тщедушный седой крестьянин, одетый в ватник с продранными локтями. На голове у него была засаленная тушинская шапочка. В старину, оказывается, такую шапочку надевали воины под шлем, но это было раньше, стальные шлемы перевелись, а войлочная шапочка осталась. Но если тогда нас не мог оборонить стальной шлем, разве сейчас сможет защитить войлочная шапочка? Уши у крестьянина словно увеличились от холода — так и блестели, отливали красным. Дедушка отсчитал ему деньги. — «Бог вам в помощь», — поблагодарил крестьянин и ударил разгруженного осла кулаком с зажатыми в нем деньгами по крупу. Под мышкой в другой руке была у него зажата короткая хворостина. Ушко дедушкиной красненькой тридцатки торчало из его кулака, словно подмигивая былому своему хозяину. Дров хватило надолго. До сих пор они горят в печке и греют — по мере возможности. Конечно, у Нико топят не очень жарко, не так, как у некоторых, но все же в комнате скорее тепло, чем холодно. На печке стоит сковорода, под крышкой на ней печется, надувается и ло-

пается (единственный) каштан. Кто-то его преподнес тете на службе, а та принесла домой. Несмотря на свои независимые взгляды она все же не решилась, видимо, лакомиться каштанами на улице, — но дома сразу зашла была не только о каштанах, а обо всем на свете. Когда она узнала о посещении Гогия и его матери, то сперва только пожала плечами — дескать, почему бы им и не требовать награды, если награждение за такие действия вообще производится. Но когда полностью уразумела, что ей довелось услышать, то устроила бабушке такой скандал, по сравнению с которым вчерашняя ссора показалась бы пустяками: «Как ты это могла допустить, как могла впустить к нам в дом семейство убийц; и как они сами осмелились явиться сюда, чтобы запутать нас в свои грязные дела». На розовый атласный лифчик она и не посмотрела, не сняла и сборника стихов Галактиона с этажерки, в гневе удалилась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. А февраль стучит зубами, из носу у него течет, он зол, он рычит на весь мир — эх, дали бы, мол, мне столько силы, чтобы превратить в ледышки всех от мала до велика! Места себе не находит от злости оттого, что у него отрезали дни, обкорнали его. А всего больше он ярится против марта, март ему ненавистен: тотчас уничтожит все его следы, придет — и все снова зазеленеет вокруг. Ну, конечно! Зачем же иначе воюет ветер? Он должен привести весну до того, как уймется, стихнет, умрет. Да и много ли еще осталось, в самом деле? Еще чуть-чуть — и пожалует сумасшедший март. Сначала легким пушком пометит дворы бледная, прозрачная, несмелая зелень. Проснется природа, вернется к жизни. Пахари запашут поля, виноградари пойдут подрезать лозы в виноградниках. Жирно заблестит черная, вывернутая лемехом земля, густой запах сырых ее глубин ударит в ноздри. Над пашней поднимается пар, на бороздах сидят перезимовавшие вороны, ведут степенную беседу: «Что это была за зима, карр, мы чуть было не побелели, карр». Февраль дует и метет, март зеленое платье шьет. Выйдет на свет Божий в новом платье, сияя радостью и гордостью, с горящим лицом и лучистыми глазами, закружится на месте, и замелькают, развеваясь, пестрые полы. Но до тех пор еще много воды утечет, целый век ожида-

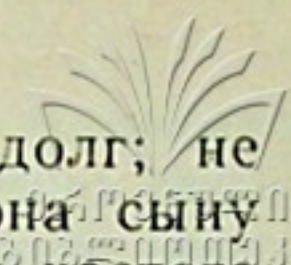
ния, мечты, надежды пробежит, прежде чем вновь зацветут деревья, набухнут почки, ветви покроются плодами и те плоды созреют и будут собраны. Впрочем, у родных Нико и фруктовых деревьев не густо. У других, у соседей, дворы, быть может, и не просторней, но с мая по октябрь там зреют самые разные фрукты. А во дворе у Нико плоды не успевают порядком налиться, как их уже нет в помине. Так и не заметишь — ни когда они появились на ветках, ни когда и куда пропали. Если на яблоне у них зарумянятся два яблока, им впору плясать от радости. Кизилковый куст у них жалит пуще крапивы. А ягоды на нем такие мелкие — одна косточка, мяса на зубах несколько не останется. И тутовое дерево у них никуда не годится. Другие как взберутся на свою туту, как рассядутся на ветвях, так спуститься их не заставишь (например, Вало Бадалашвили). А на шелковице у Нико разве что у самой верхушки выглянут две-три ягоды, и если птица не склюет их под самым вашим носом, если вы потом до них еще дотянетесь, если не обломится под вами ветка, — сбора едва хватит, чтобы смочить губы. И все же стоит поглядеть, когда все вокруг зацветет, заиграет всеми цветами. И если даже плодов и ягод не наберешь, то все же так красиво ни одно дерево не цветет нигде, ни в чьем саду. Ничего нет приятней, чем смотреть на цветущее дерево. Словно одурманенный, бродит в такие весенние дни Нико по двору, плутает между стволами деревьев, как хмельной ребенок под ногами у взрослых, сытый и пьяный от запахов. И вправду, запах в воздухе стоит такой опьяняющий, что пчелы слетаются сюда со всего света. С каким упоением они ныряют внутрь бабушкиных роз — тех, что для варенья — и от удовольствия шевелят оставшимися снаружи задними лапками, стараясь забраться как можно глубже в пахучую тьму, до самого дна. И ничего больше не существует для них, кроме этого сладкого и темного лона. А потом китайский жасмин испускает свой хмельной аромат, и вот уже к нему устремляются объятые великим созидательным порывом пчелы. А весна без пчел — какая же это весна! Но вполне возможно, что кое-кто здесь и не дожидется прихода весны. Интересно, сумеет или нет хоть на этот раз Кето, их школьная учительница, произнести над-



гробную речь? Нет, наверно, не сумеет. Повторится то, что было два года тому назад. А было то, что на похоронах школьного товарища Нико ей ножом не могли разжать зубы, чтобы влить в рот валерианку. Вместо того, чтобы обратиться к покойному ученику с прощальным словом, она упала на гроб без чувств. Смерть безжалостная злая раны меня косила от товарищей от торглан в могилу уложила. Хилая, тщедушная женщина с глазами, как щелки, эта Кето. Чем-то напоминает мышонка, в особенности, когда семенит по школьному коридору. Кому-нибудь может даже прийти в голову швырнуть в нее книжку или погнаться за ней. А вместе с тем она — сама доброта. Для учеников ее уроки — отдых от занятий: каждый делает, что хочет, а она прячется за ворохом книг, сутулится, жметя, стесняется (а может быть, и боится) своих учеников, как будто это она виновата в том, что глобус на шкафу с проломанными стеклянными дверцами покрыт, словно голова городской сумасшедшей, старой-престарой рваной шляпой; что у учебного классного скелета кто-то оторвал одну руку; что на доске нарисован мелом мужской срам; что в классе стоит отвратительный, прелый запах грязи, гнили, убитой в кулаке любви. Ученики ее зовутся учащимися, но это уже взрослые мужчины, кормильцы семей, есть среди них шапочники, есть сапожники, пальцы у них исколоты иголкой и шилом, они шьют из старых покрышек сапоги (Нико носит как раз обувь их работы), продают их по воскресеньям в Бодбисхеви на базаре, половину выручки, если не всю, оставляют в Цнорских бараках и, облегчив свое естество, спешат домой, в Сигнахи, готовить уроки, заданные на понедельник; но через столько разнообразных волнений и страхов надо им пройти, пока доберутся до дома, что и следа не остается от полученного в Цнори удовольствия; а мучительные, неопределенные ожидания заставляют их проклинать свою судьбу, через смертные муки должны они пройти, пока взглянут, осмотрят, проверят — в особенности на третий, на седьмой и на двадцать первый день, и это тоже — как будто вина учительницы, той же Кето, и она застенчиво, испуганно прячется за книгами. Но разве можно прожить так, чтобы не знать за собой никакой вины? Вполне мыслимо, что тот, кто не делает



ничего дурного, и окажется в конце концов наиболее виноватым. Но Нико теперь уже все безразлично. Он затерялся, он заключен во мраке безразличия, равнодушия, бесчувственности. Он сейчас — словно майский жук в спичечной коробке. В детстве он носил в кармане посаженного в спичечную коробку жука и очень гордился тем, что обладал таким сокровищем — снисходительно, как могущественный, но милостивый государь, позволял он любому желающему приложить к уху коробок и послушать, как скребется там во мраке его пленник. А тот, пленник, шуршал, безостановочно царапал мохнатыми лапками картонные стенки своей тюрьмы, он был не согласен жить во мраке. Он, оказывается, страдал, а Нико радовался. Но тогда Нико еще понятия не имел о том, что такое страдание. Он тогда еще не знал, что мрак — всюду мрак, даже в спичечной коробке. Он еще ничего не знал — простим ему его неведение! А впрочем, нет, именно неведение нельзя простить. Даже не прочитав ни одной книги, ему следовало понимать, что мрак в спичечной коробке таков же, как в любом другом месте, и еще — что жук был его братом, который родился жуком или в силу обстоятельств с течением времени превратился в жука. Важно, что он с самого начала не знал этого и терзал брата до тех пор, пока не понял, что такое вообще страдание — всякое, человеческое, животное, птиц, насекомых, пресмыкающихся... Вот почему он мучается сейчас, вернее, мучился до того, как умер. В муках отдал он душу. А мать его думала, что у них тут сплошное веселье. Воображала, что спасла сына, увезла в тихие, мирные места, подальше от опасности. А на самом деле лишь приблизила, ускорила конец своего сына. Скинула лишнее бремя, освободила себе вторую руку, чтобы как можно крепче, всеми десятью пальцами вцепиться в кровать больного мужа. А сына понемногу, постепенно, бесконечно повторяя одно и то же, убедила, приучила к мысли, что он тут лишний, что он мешает, что ему надо уехать. — «Ты все время один, заброшен, у меня для тебя не остается времени, бегаешь, как бездомная собачонка, по улицам. Бог знает, что ты ешь, что ты пьешь», — твердила она ему беспрестанно, сама же мыслями все время была там, в больнице; а дома, около сына, лишь исполняла без



охоты, принуждая себя, свой родительский долг; не вдумываясь, не вникая в смысл, повторяла она сыну слова, как бы заученные раз и навсегда и от частого повторения вообще потерявшие для него всякое значение. Попавшая под дождь, вымокшая с головы до ног, робко присаживалась она на краешке стула и, всхлипывая, твердила все то же, второпях, готовая снова убежать, словно не домой пришла, а заглянула на минуту к соседям по какой-то хозяйственной надобности; сидела, даже не сняв пальто, и от нее разило больницей — неприятный запах, бередящий, гнетущий, подавляющий, со всем смиряющий и все обесценивающий. А мама всхлипывала, сидя на краешке стула в своем собственном доме, как гостя; сумка, набитая грязной посудой, все еще лежала у нее на коленях, и она всхлипывала, плакала, оплакивала свою беду, свою недолю, испорченный праздник, разрушенную семью, обреченного на смерть мужа, заброшенного, одичавшего сына... Она плакала, плакала горячими слезами, и слезы неиссякающим хрустальным ручьем струились по ее щекам. Это таяли, таяли хрустальные замки ее мечты, таяли, потому что для них уже не было места, кому уж теперь было до хрустальных замков — и они рушились, падали, плавилась на адском огне, таяли и стекали слезами, елеем... Чтобы пролиться на мир, смягчить ожесточенное его сердце, быть может... Но что могла сделать одна бессильная, несчастная женщина? Ничего! Во всяком случае, больше она не может, ей ничто не под силу. Она ведь тоже — человек, в конце концов. Она тоже испытывает страх, боль, холод, голод. Все, что у нее было, она вынесла на базар, чтобы у мужа не ощущалось ни в чем недостатка, чтобы хирурги в белых халатах говорили друг другу: «Нет, такого ухоженного больного мы еще никогда не видели». Но больше она не может, она устала, она мечтает заснуть — сном, крепким, как сама смерть, долгим, как смерть... А понять ее некому — никого у нее нет, кроме этого перепачканного щенка с наморщенным подбородком, но именно он-то, этот щенок, и не хочет ее понять — одичал, отбилась от рук, отстраняется от материнской ладони, раздражается от материнской ласки. Рычит и впрямь, как щенок, скалит зубы и при этом показывает матери зеленые от дикого

чеснока десны. — «Что ты ел?» — удивляется мама. Она еще плачет, еще не может сдержать всхлипываний. Поэтому вопрос ее, забавный уже сам по себе, получается забавней. Ей становится смешно, она плачет, всхлипывает и одновременно смеется: «На что ты похож, что у тебя за вид, мальчик ты или теленок?» Смеется, всхлипывая, и всхлипывает, смеясь. В самом деле — разве не смешно — ее сын ест траву, пасется на траве, совсем превратился в животное. Тут уже и сын не может удержаться. С трудом, ценой мучительного напряжения заглушенный в себе плач вырывается вдруг надрывным, безудержным хохотом из его груди, брызжет из его глаз. Они оба хохочут. Мать стучит по полу обеими ногами. А ее щенок заливается, заходится смехом, глубоко засунув руки в карманы. Тем не менее, он настороже, чтобы вовремя оттолкнуть материнскую руку, как бы нечаянно, случайно тянущуюся к нему, чтобы потрепать за вихор, приласкать. В старинном ветхом буфете звенит посуда. Оконные стекла отзываются звоном в свою очередь, как во время воздушной тревоги, когда стреляют зенитки — хотя в этом смысле сегодня спокойный день, ни один самолет не пролетал над городом. Со стен изумленно смотрят портреты знакомых и незнакомых, живых или умерших людей. А они, мать с сыном, смеются, смеются, но притом насторожены, не сводят ни на минуту взгляда друг с друга, с неослабным вниманием следят друг за другом, чтобы эта неожиданная, болезненная, неуместная веселость ни в коем случае не разрушила воздвигнутой в муках стены между матерью и сыном, барьера, приспособления к судьбе, не сорвала с них пригнанных кое-как масок твердости, стойкости, выдержки... Ни у того, ни у другой уже не хватит силы для восстановления разделяющей, спасительной стены, для того, чтобы вылепить новые маски. А смех... что ж, от смеха худа не будет! Пусть, пусть смеются, сколько им угодно, только бы не маскировали, не скрывали под смехом свои измененные чувства. Да и зачем? Добра это им не принесет, а измучаются еще больше, и вместе, и по отдельности, каждый в своем коробке. Лучше пусть смеются бесцельно, бессмысленно. Пусть смеются, чтобы смеяться, потому что могут, потому что знают, что значит смеяться, и способны на это. Фото-

граф ведь не учит никого, как надо смеяться, а всем одинаково говорит: «Улыбайтесь!», потому что способность к смеху дается человеку от рождения и любой человек в равной мере может, когда это ему удобно, использовать это умение как ему заблагорассудится — иначе говоря, от него одного зависит, когда и как ему смеяться. А смех, милостью Божьей, бывает разный: неуместный, фальшивый, горький, издевательский, бессмысленный, безумный, беспричинный, бессердечный, насильственный, холодный... Так что можно выбрать удобную разновидность смеха — если, разумеется, можно вообще выбрать что-нибудь на все время, пока ты жив, пока существуешь; а можно ли — это трудно сказать, потому что человек беспрестанно в жизни что-то выбирает, но настолько непостоянна его природа, так быстро меняются его мысли, взгляды и желанья, что в конечном счете у него ничего не остается в руках.

8.

— Мама! Кажется, проснулся, — сказала тетя. — Очень хорошо. Скоро и доктор придет, — ответила бабушка и, наклонившись, шепнула на ухо Нико: — Какой же ты потный! — как бы тайно от тети, по секрету; Нико почувствовал сперва запах, а потом прикосновение бабушкиной руки — то и другое было ему приятно, но он все еще был в полусне, в мире грез, полном мучительного блаженства, и, главное, ему вовсе не хотелось просыпаться, выходить оттуда. — Проснись, милый, — шептала бабушка, и голос ее, чуть дрожащий, согретый любовью и заботой, вкрадчиво, коварно вызывал его из царства сна в трезвый дневной мир.

Едва-едва разлепил и с трудом, понемногу раскрыл Нико глаза, но к своему удивлению увидел перед собой вместо бабушки — тетю: она стояла над его изголовьем и смотрела на него с чуть насмешливой жалостью, — так рассматривают фотографию: «Эх ты, бедняга, и не видишь меня, и ничего сказать не можешь!» Но совсем не так обстояло дело сейчас: Нико все видел и, если бы понадобилось, готов был вступить в беседу с любым, кто с ним заговорит.

Тетя прижимала обеими руками к груди свое «дитятко» — сборник стихов Галактиона Табидзе, с которым никогда не расставалась. Она сама его так называет: «Это мое дитятко». Дедушка подшучивает над ней — разумеется, иносказательно, как обычно — находится у него на любой случай пословица: «Говорила девушка — не хочу я мужа, а хочу ребенка»; а понимает он, что каждая женщина должна в первую очередь иметь мужа. От тети, конечно, не ускользает смысл дедушкиной поговорки, и она тут же, разъярившись, набрасывается на него: «Если бы я хотела выйти замуж, то и вышла бы двадцать раз до сих пор!»

Да, да, она и в самом деле не хочет выходить замуж — уж если кто-нибудь это знает — так Нико, только Нико. Нико — поверенный ее тайн, ему одному известно все о ее несчастной, странной любви; может быть его вообще только потому и привезли из Батуми; в один прекрасный день у тети открылись глаза и она увидела, что без друга (без Нико) совершенно беспомощна, ни на что не способна: не может ни тайну скрывать, ни терпеть муки несчастливой любви. И поэтому, три года тому назад, когда они с тетей сошли с поезда, то не к сигналахскому автобусу поспешили, где их должен был встречать дедушка, а к дому Сосо, чуждому и неприступному, в особенности для Нико, который до сих пор понятия не имел, что существует на свете такой дом. Но вышло так, что именно ему поручила судьба войти в этот дом, который и запечатлелся в его памяти навсегда с того самого времени, когда он — ради своей тети, по ее просьбе, — не задумываясь, не зная, что там найдет, поднялся по лестнице без перил, и пол на верхней террасе зловеще заскрипел у него под ногами. Правда, тетя все два дня по дороге от Батуми до Цнори ни о чем другом не разговаривала с ним — подробно объясняла, учила, как войти в этот дом и что сказать хозяевам, но сейчас, когда дошло до дела, все казалось Нико необычным и непонятным, опасным и пугающим, и он в волнении почему-то повторял про себя: «Прощайте, прощайте, прощайте», хотя сам не знал, не отдавал себе отчета, с кем или с чем прощался так истово, с таким жаром. Во всяком случае, ничто не заставляло его прощаться столь горячо. Тетя, ухватившись за его руку, тянула изо всех сил вперед, безостановочно нашептывая ему на ухо и



прокладывая путь, словно поводырь — слепому, среди лихорадочно спешащих людей, в толкотне, в водовороте немолчной вокзальной толпы. — «Будь начеку, не напороться бы нам здесь вдруг на дедушку!» — то и дело остерегала Нико тетя — им надо было сначала покончить с одним очень важным делом, для которого дедушка был им не нужен, в котором дедушка мог им только помешать. И Нико безропотно подчинялся тетиной руке, сжимавшей его локоть и, между прочим, причинявшей ему довольно сильную боль. Ему не терпелось выбраться отсюда — они прокладывали себе путь между грубо, но надежно, прочно, словно навсегда увязанными, перевитыми веревкой или шпагатом, скрепленными попарно мешками, сумками, чемоданами, корзинами, разбросанными на полу вокзального помещения, как остатки разгромленной баррикады. Пробирались, прокрадывались, шагая через мешки и обходя корзины и чемоданы — так, словно Нико, приехавшему сюда искать спасения, впору было, наоборот, вместе с тетей, поспешно спастись отсюда. Нико (и впрямь как слепой) подчинялся своей путеводительнице и доверчиво следовал за ней в непроглядность ночного Цнори, в душные, беспредельные пещеры неопределенности, неизвестности. Они продвигались вперед, крадучись. Воздух был неподвижен. Вокруг клубился мрак, насыщенный запахом пыли — словно они и впрямь находились в подземной пещере, куда, спасаясь, ускользнули от спасителя — дедушки. Нико не мог даже сообразить — по улице идут они, или по загородной дороге. Под ногами у него была мягкая, пушистая пыль, в которой он увязал чуть ли не по самую щиколотку; казалось, они шагали по поверхности давно погасшей звезды, и вокруг, куда хватал глаз, нельзя было даже представить себе существование жизни. А тетя смеялась, смеялась, никак не могла сдержать нервический смех. Видимо, ей все же было немного стыдно перед Нико — не такая уж она была взрослая, какой старалась казаться. Она всячески важничала перед Нико — смотри, мол, в каких я историях замешана, но не была до конца уверена — правильно ли поступает, не подает ли младшему дурной пример. — «Мне бы только глоток воды, и сразу пройдет», — успокаивала она Нико и как бы даже извинялась перед ним. Но в этой непролазной пылевой пустыне не было и в помине воды — хотя они



даже наткнулись в темноте и на колодец, и на колонку; но колодезная цепь вместе с ведром была прикреплена к забетонированному в земле железному кольцу и заперта большим ржавым замком, а из крана колонки они не смогли извлечь ничего, кроме резкого скрежета и перепуганного паука: когда разозленный Нико пнул в сердцах ногой колонку, торчавшую из пыльных наносов, как железная змея, готовая к нападению, из пересохшей ее пасти выпал паук, который неуклюже, но быстро побежал прочь по пыли на своих длинных лапках.

Наконец они как бы выбрались из подземной пещеры: внезапно показалось небо, усеянное звездами, и Нико вздохнул с облегчением — словно до того, как показалось небо, нарочно задерживал дыхание. Поднялся ветерок и принес откуда-то запах стоячей, затхлой воды. Заблестели под звездами мазутные лужи, и оглушительно заквакали лягушки. Впереди раскачивалась под ветром тростниковая заросль. Тростники перегибались, как пьяный всадник в седле, то в одну сторону, то в другую и сталкивались с громким шорохом. При свете луны и звезд золотисто поблескивали их растрепанные верхушки.

Тетя углубилась в тростниковую заросль. Нико последовал за нею. Ему в тростниках ничего не было видно, он шел за тетей по голосу. А тетя с уверенностью зверя пробивалась через заросль. Видимо, она была здесь не в первый раз. «Прощайте, прощайте», — повторил Нико в душе, но и на этот раз не отдавал себе отчета, с кем или с чем прощался. Просто, вместо того, чтобы радоваться спасению, безопасности, он (наверно) испытывал пока лишь печаль и сожаление, которые тяготили его, как мешок с камнями на спине — неопределенная печаль и неопределенное сожаление, о чем или из-за чего, он не мог себе уяснить. «Что уступишь добровольно, никогда уже не вернешь», — вспомнились ему почему-то слова отца и на мгновение мелькнул перед ним сам отец, его лицо с закрытыми глазами, залитое потом. Он даже отмахнулся невольно, словно это мучительное, но превратившееся уже в потребность видение прилетело откуда-то извне, издалека, а не жило в нем, не поселилось навсегда в его душе и в его сознании.

Внезапно он натолкнулся на тетю — словно тетя не

просто поджидала его, остановившись, а загородила ему дорогу, твердо решив не пускать его дальше, встала перед ним, как неприступная крепостная башня. Она громко и часто дышала, как лошадь, удерживаемая на месте натянутым поводом... Ветер доносил откуда-то обрывки нестройной, пьяной песни. Вокруг шуршали, шелестели тростники, сталкиваясь друг с другом. — «Ах, Нико, Нико, знал бы ты, как мне страшно», — сказала вдруг тетя. Нико только передернул плечами и глубже засунул кулаки в карманы. Разумеется, ему тоже было страшно. Жутко и неприятно было стоять здесь, среди мазутных луж, под кваканье лягушек, в чаще подозрительно шепчущихся, недобро шуршащих тростников. Угнетенным, пришибленным чувствовал он себя, тягостное предчувствие какой-то неведомой, неясной опасности как бы змеей вползло ему на ноги, обвивалось вокруг трясущихся икр. Настоящих змей, наверно, тоже было немало в этих камышах. Но Нико обязан был и с этим смириться, ему следовало все вынести — как другу, а не только племяннику своей тети. Дружба повелевала ему — выдержать, выстоять, вытерпеть, и даже свершить невозможное. — «Посмотрите-ка на молодца — стоит себе, засунул руки в карманы, и все ему нипочем», — рассмеялась тетя. А тростники шуршали, шелестели, шептались... Прохладные, шероховатые листья, как обмякшие, обессиленные сабельные клинки, поглаживали время от времени по щекам то тетю, то Нико — как бы случайно, произвольно, из-за темноты и тесноты. — «Ничего особенного от тебя не требуется, — сказала тетя. — Спросишь и сразу откланяешься. Узнаешь только, нет ли каких-нибудь вестей. Говорят, один за другим возвращаются погибшие, убитые... То есть те, кого близкие считали погибшими. Скажешь, что ты брат его товарища. И сразу возвращайся. Слышишь, Нико? Сердце говорит мне, что он жив. Я уверена. Я убеждена». Она вдруг сжала одной рукой плечо племянника, а другой раздвинула заросль и протянула ее вперед. — «Вон их дом», — сказала она. И Нико увидел неподалеку довольно большой дом — угрюмый, призрачный, над самыми тростниками. «Чего мне бояться», — сказал он в душе, успокаивая себя, потому что на самом-то деле испугался этого зловеще безмолвного призрачного строения, со сказочной неожиданностью возникшего перед ним и

сказочно-таинственного для каждого, кто взглянул бы на него в этот миг (мог ли он подумать тогда, что через три года, в минуту самой грозной опасности, он вспомнит именно этот дом, воочию представит себе его, как наиболее надежное укрытие и убежище). Тетя сорвала длинный лист тростника, обвила его вокруг шеи — словно брала мерку для воротничка на платье — и спросила: — «Это правда — то, что твоя мама говорит о тебе?» — «А что она говорит?» — взволновался Нико и даже вынул руки из карманов, как полагалось, когда он здоровался со старшими; а сердце у него забилося так, как будто он курил в школьной уборной и из коридора донесся вдруг громкий голос директора. Почему-то бледный образ Еленицы мелькнул на мгновение между тростниковых стволов. Ему и самому трудно было бы установить какую-нибудь связь между этим видением и вопросом тети. Кем-то или чем-то испуганная птица пролетела над тростниками, едва не зацепив грудью озаренные луной их метелки. — «Твоя мама сказала, что ты грустный, что будешь грустить, — сказала тетя. — Значит, ты такой же, как я. Я тоже грустная. Такой родилась, оказывается — грустной с самого начала, — продолжала она невесело; явно тянула время, не торопилась отпускать Нико, словно в последнюю минуту усомнилась то ли в правильности своего замысла, то ли в надежности, преданности Нико. — Отец говорит: новая печаль — старой забвение, — добавила она грустно, задумчиво. — Слыхали вы такое — лечить печалью печаль? К вашему сведению, опечаленные граждане! — снова развеселилась она. — Прием больных ежедневно, кроме субботы и воскресенья. По субботам и воскресеньям лечите себя сами, — рассердилась она на кого-то. — Я в лечении не нуждаюсь. Благодарю покорно. Хочу быть печальной. Между прочим, грусть мне очень к лицу. И главное, все обращают на меня внимание. Ах, какая ты грустная, девушка... А я очень, очень нравлюсь сама себе, когда я печальна», — снова тенью тоски и досады подернулся ее голос. А Нико вспомнилось его собственное далекое, уже баснословное детство, довоенные годы. То же самое в точности говорила ему где-то в Бакуриани или в Цагвери белолицая и пестроглазая дачная их хозяйка, когда он с матерью чуть ли не на заре заходили со своими стаканами к ней в хлев за

молоком. Хозяйка сидела на низенькой колоде у задних ног коровы, перебросив ее хвост через плечо, как собственную косу, и с такой силой мяла ее вымя и тянула ее сосцы, что Нико удивлялся — почему животное спокойно стоит на месте и подчиняется доильнице. А корова глядела на Нико большими влажными глазами, овеянная паром, идущим от ее молока, прохладой утра, запахом сена и навоза и, словно узнав его и обрадовавшись ему, мягко и нежно била хвостом с присохшим навозом по спине свою хозяйку. А она, хозяйка, выдаивала прямо в стакан Нико пенистую, шумную струю, и когда подавала ему посудину, увенчанную горкой белой, пышной пены, непременно приговаривала: «Когда у тебя лицо просветлеет, сынок, о чем ты все грустишь?» — «Знаешь, отчего я такая? — спросила вдруг тетя, и продолжала, не дожидаясь ответа: — Оттого, что поздно родилась. Опоздала пожаловать на этот свет. То есть, задержалась не я — мои родители никак не могли решиться, тянули без конца. И родили меня не в срок. Не тогда, когда по чести подобало явиться на свет, а когда они немного поуспокоились, осмелели и решились заиметь еще одного, второго ребенка. Спросить мою мать, так она хотела иметь много детей. Молчали бы уж оба! Куда им было детей рожать! Чтобы произвести на свет ребенка, нужна отвага. Мне полагалось быть самое большее на один-два года моложе твоей матери — если вообще мне следовало родиться. А на деле я моложе своей сестры на десять лет, даже не на десять, а на одиннадцать, она мне скорее в матери, чем в сестры годится. Вторая мать — не то что понимает меня, а на моей стороне, моя, душой за меня болеет. — Она рассерженно толкнула ближайший тростниковый ствол — тот с шорохом ударился о соседние, те в свою очередь зашелестели, заволновались, и тотчас же посыпалась, как снег, с их метелок блестящая мягкая пыль. — Пока не настало мирное время, пока все не успокоилось, мои родители не осмеливались родить меня, точно от меня прибавилось бы смуты в разодранной, истерзанной и без того стране. — Она засмеялась насильственным, притворным смехом. Волосы и плечи у нее были запорошены тростниковым «снегом» (наверно, и у Нико тоже). — Так что я — первенец замиренной, узнавшей покой страны. Между прочим, ты тоже. Представляешь себе?

У меня больше общего с тобой, чем с моей сестрой. Она родилась до революции, мы с тобой — после нее. Мы с тобой дети мирного, спокойного времени — если вообще возможно мирное, спокойное время. Мой отец говорит: человек успокаивается только в могиле. И в самом деле — если я принадлежу спокойной стране и мирному времени, почему тогда все в моей жизни так запутанно и беспокойно? — торопливо, скороговоркой продолжала она, словно ей трудно было высказать все это, словно она долго удерживалась от таких признаний, а решившись в конце концов, старалась ничего не скрыть, не утаить в душе, сказать больше, чем она даже знала сама, лучше, чем могла, понятнее, чем сама понимала. — Бывает, случается, опаздывают — но настолько? Я спрашиваю тебя, Нико, мыслимо ли, а, такое опоздание? Да, но откуда было известно Галактиону, что я должна была родиться... что мы оба должны были родиться грустными? Ты в самом деле знаешь, что такое тоска? То есть, это правда — то, что сказала мне твоя мать? — говорила, говорила она встревоженно, взвинченно, огорченно — то как бы побуждаемая любопытством, то словно раздираемая сомнениями. А тростники шуршали, шелестели, шептались, раскачивались и с громким шорохом сталкивались друг с другом, словно расшалившиеся дети, или пьяные, или слепые. — Правда, конечно — о чем тут еще спрашивать! — ответила она сама себе. — Но если скажешь ты сам, будет совсем правда, — снова вдруг разволновалась она. — Скажи мне, не тансь, прошу тебя. — Мы ведь одно с тобой, мы ведь одинаковые, — настойчиво допрашивала она Нико. И при этом торопливо, быстро, небрежно обматывала свое запястье длинным тростниковым листом, так, словно она поранила себе руку, как поранил себе позднее, зимой того же года Нико кончиком топора. Казалось, она истекает кровью и лихорадочно старается остановить кровотечение. — Мы должны всегда быть вместе, — продолжала она заговорщицким тоном. — Если мы будем любить, то и других убедим, заткнем всем рты, если еще посмеют и будут говорить, что любви не существует. — Слезы проступили в ее голосе, собственные слова растрогали ее. — Нарядное платье сошью, чтобы шелком оно шелестело... — вдруг пропела она сердито, без мотива, словно не хотела вовсе петь, но ее

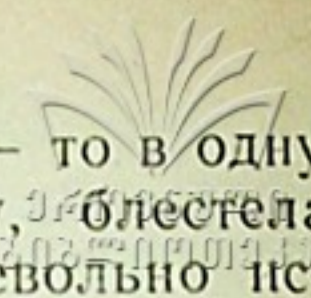
заставили. На самом деле она хотела остановить непро-
шенные слезы песней, и когда ей это удалось, сразу
продолжала: — Спросить наших, так я, оказывается, не
могу даже разобрать, день или ночь на дворе, лето или
зима, не отличаю правую сторону от левой, черное от
белого. И даже больше — стоит чужому человеку пома-
нить меня пальцем, как я, оказывается, побегу за ним,
словно бездомная собачонка. Вот такие мы, дети мирно-
го времени», — добавила она с улыбкой, успокоившись,
обычным, ровным голосом, как бы говоря ему: как же
ты не заметил до сих пор, что я глупая. — «Ты очень
хорошая!» — вырвалось вдруг у Нико, и он весь окаме-
нел, потому что вовсе не собирался сказать это, вообще
ничего не собирался говорить — но, по-видимому, и он
заразился тетиным волнением, и ему передалась ее
невысказанная печаль. Или, возможно, тетины слова
пробудили в нем его собственные печали, напомнили ему
о собственных огорчениях — словно тетя сидела у него в
душе и говорила не только за себя, но и за него. Поэто-
му у него и вырвалось: «Какая ты хорошая», — но тетя
как будто и не слышала, и как ни в чем не бывало про-
должала: «С тех пор, как я себя помню, мне ничего не
разрешено, только и слышу — ты глупа, и должна нас
слушаться: то не так, и это не так, как тебе кажется;
того, что ты хочешь, ты не должна хотеть; ты должна
слушать, что мы говорим, ты должна спрашиваться у нас
и поступать по нашему слову. И я, как себя помню, все
время делаю то, чего не хочу, но что другие считают
нужным. — Она ударила ногой о землю, как лошадь
копытом. — Если мне нравилась игрушка, говорили: это
тебе не годится; если книгу брала — тебе ее рано чи-
тать, это для взрослых. Я, оказывается, и того даже не
знала сама, о чем я мечтаю, что у меня болит и что меня
радует. В уборную и то меня не пустят, не спросив Мар-
гариту — правда мне туда нужно, или я выдумываю.
Впрочем, этого я тебе не должна говорить, — смутилась
она. — А впрочем, так лучше. Между друзьями не долж-
но быть тайн. Ну и, дружба дружбой, а мы с тобой
ведь одна плоть и кровь. Кто может быть тебе ближе,
чем сестра твоей матери? Но мы с тобой еще ближе
друг другу, мы с тобой духовные близнецы, мы рождены
одним и тем же временем, я немного раньше, ты немно-
го позже, но все равно — в одно и то же время! Впро-

чем, ты можешь считать меня за кого угодно, только считай вообще за кого-нибудь! — Теперь она рвала зубами лист тростника на длинные полосы. — Но любовь все же существует! — воскликнула вдруг она с жаром. — Ведь существует, правда? — словно на кого-то огрызнулась она вдруг. — Ты сам можешь считаться примером. — Она ткнула пальцем чуть ли не в лицо Нико. — У нас на работе все в один голос твердят — что любовь, какая там в наше время любовь, это уже давным-давно преодоленная и забытая болезнь, все равно что какая-нибудь малярия, если ты не дура — проводи время как можно веселей, пользуйся жизнью, пока имеешь возможность. Но как мне им верить, когда я сама не только чувствую, но даже явственно вижу любовь. Достаточно мне остаться одной, закрыть глаза — и тотчас же она передо мной. словно отпущенный воздушный шарик, несется она вприпрыжку, приплясывая, по верхушкам деревьев. Порой зацепится за ветку, за другую, и, кажется, вот-вот сейчас лопнет. А она несется, приплясывает над верхушками, смешная, легкая, свободная, ветреная... А внизу, на земле бегут за нею дети — такие же глупые, такие же грустные, как мы — окликают ее, зовут, тянутся за нею, но не могут достать. Но разве шар виноват, что дети не могут с ним управиться? Или разве дети виноваты, если взрослые не остерегали их вовремя, что может так случиться? Но, разумеется, есть тут и наша вина, мы должны были лучше ее привязать, закрепить конец шнурка у себя на груди, намотать его себе на шею, и скорее дать себя удавить, чем отпустить ее, чем ее потерять. А теперь уже поздно, теперь ни крюком ее не зацепишь, ни камнем не собьешь: сразу лопнет, разлетится на клочки. Сама должна вернуться, хоть когда-нибудь, да должна. Иной возможности не существует. Но кто-нибудь же должен дожидаться ее на земле, чтобы имело ей смысл возвращаться? — Она вдруг вцепилась в ворот рубашки Нико и с силой трянула его, словно Нико заснул на ходу и она хотела его разбудить, или был пьян, и она приводила его в чувство. А Нико опять почему-то почудилась Еленица — скучная, бледная, словно навеки затерянная в замшелом зеленом саду, среди запахов жареной рыбы и моря, среди негромких, нестройных звуков тростниковой свирели. — Ты слышал, что я сказала? — крикнула она, наклонясь

к самому его лицу. — Так вот, ступай и спроси его не-
счастную мать, не узнали ли ничего нового о нем». Она
оттолкнула его, упершись ладонью ему в грудь, улыбкой,
уже только для одной себя, добавила: «Если он стоскуется
без меня, если ему свобода без меня покажется тюрьмой,
то пусть придет и уведет меня, куда захочет». Но Нико
уже бежал к призрачному, мрачному дому и не слышал
последних слов тети. А тростники шуршали, шелестели,
шептались, с громким шорохом сталкивались друг с другом
и при свете луны золотисто блестели их пышные хохолки.

Дом и вблизи казался нежилым. Лишь в каком-то
дальнем его углу, видимо, кто-то сидел с огнем — быть
может, всего лишь с коптилкой, и тусклый, колеблющийся
отсвет оттуда достигал балкона. Затаив дыхание, прошел
Нико по скрипучим половицам через террасу и вошел в дом,
помедлив немного сразу за дверью, чтобы глаз привык к
незнакомой обстановке, но во всех комнатах (Нико казалось,
что он попал в лабиринт — комнаты без конца сменяли одна
другую, но Нико был так растерян, так путались у него
мысли от страха, что, возможно, он просто раз за разом
проходил через одну и ту же дверь с обеих сторон) его
встречало одно и то же: душный, спертый воздух, пустота —
каждая комната была одинаково заполнена бесстрастной,
невозмутимой темнотой, в которой плавали бесцветные,
едва мерцающие обрывки бессильного, гаснущего света.

Когда Нико пришел в себя и собрался с мыслями, он
стоял на пороге уже явно другой комнаты, и раскрыв от
изумления рот (не верилось, что найдет следы жизни),
глядел на горящую коптилку, над неверным пламенем
которой носилась сажа. У стола сидела женщина в черном —
одна рука ее лежала на коленях, другая опиралась о стол,
она с не меньшим удивлением разглядывала нежданного
гостя расширенными от темноты, от одиночества, от тоски
глазами. И видимо, с нетерпением ждала, чтобы он назвал
себя и объяснил причину своего прихода. Но у Нико было
такое чувство, будто он уже сказал, что ему нужно, и теперь
он сам ждал ответа от хозяйки дома. Так, в нерешительности,
в смущении и без страха глядели они друг на друга. В
комнате по всей ее длине, от стены до стены, была
протянута веревка. На веревке, привязанная за волосы,
висела только что




вымытая кукла и медленно поворачивалась — то в одну сторону, то в другую. Под куклой, на полу, блестя темная лужа натекшей воды, и Нико стал невольно искать глазами таз, в котором вымыли куклу. Но в комнате вообще не было ничего, кроме стола и того единственного стула, на котором сидела хозяйка — которая, уже насупясь, недоверчивым, подозрительным взглядом смотрела на пришельца. Нико не терпелось убраться отсюда подобру-поздорову, но притом очень уж не хотелось возвращаться к тете, не исполнив ее поручения. А женщина за столом молчала — упорно, нерушимо, как руина старинной крепости или храма. Потом, тяжело опираясь рукой о стол, она медленно встала со стула. Поднималась долго-долго, и Нико подумал, что когда она совсем распрямится, то непременно ударится головой о потолок. Женщина была в самом деле высока ростом; линялое черное платье висело на ней так, как будто было пусто изнутри, как будто у хозяйки его не было вовсе тела, а остались только голова и руки, то, что необходимо, чтобы найти и вытереть портрет сына — голова и руки. Она была похожа на какое-то сказочное существо, не злое и не доброе, а злое и доброе одновременно. Она взяла со стола тряпку того же цвета, что ее платье и поплелась неверным шагом к стене — казалось, подхваченная воздушным течением. Впервые в эту минуту заметил Нико на стене портрет и вздрогнул — казалось, какой-то юноша с непокрытой головой и расстегнутым воротничком выглянул в этот миг с печальной улыбкой из потустороннего мира через окошко в черной рамке. Бестелесная женщина долго смотрела на портрет, откидывая голову то вправо, то влево, словно не могла решить, с какой стороны лучше выглядит ее сын. Потом она несколько раз дохнула на стекло, под которое был вправлен портрет и на котором красновато мерцал тусклый отблеск пламени коптилки, и медленно, неторопливо, тщательно стала протирать его зажатой в кулаке тряпкой. Ей, казалось, и дела не было до того, что кто-то стоит у нее за спиной — а может быть, она и вовсе забыла об этом.

Можно ли после этого удивляться, что тетя не хочет выходить замуж? Вот почему она вспыхивает всякий раз, когда, не умея заглянуть в ее душу, кто-нибудь — хотя бы даже родительница или родитель — напоминает

ей, что жизненный долг женщины, назначенный ей путь — это быть женой, матерью, хозяйкой дома... Это ведь и так всем известно. Если они так добры и всеведущи, пусть научат ее, как объяснить мертвому то, чего он не успел узнать при жизни; как утолить мучительное горе матери, потерявшей сына; как сохранить тепло в доме с сорванными дверьми и проломанными окнами. Хотя, по правде сказать, дедушка со своей стороны тоже прав. Времена меняются, но люди остаются людьми, и непонятно, почему должно быть плохо сегодня или завтра то, что считалось хорошим вчера? Женщина должна выйти замуж, женщина должна родить ребенка — разве это предмет для спора? Но ведь прямо, «по-человечески» ни дочь, ни отец не говорят того, что хотят сказать; а если приводят свои доводы, то лишь обиняками и, представьте себе, так гораздо лучше понимают друг друга. Не успеет дедушка договорить до конца свою притчу, как тетя уже бросается в бой: «Ты неправ!» Зато бабушка, в отличие от дочери, с гораздо большим пониманием и уважением выслушивает поучительные дедушкины присловья, хотя бы потому, что в них вложены мысли и воззрения главы семьи, интересные и обязательные для всех остальных ее членов — поскольку, что бы там ни было, никто не должен оспаривать взгляды и воззрения главы дома, если они хотят именоваться семьей, а не сборищем своевольных, своекорыстных, заботящихся лишь о собственной прихоти и собственном интересе людей. И поэтому бабушка, бывает, прикрикнет на тетю, — «Помолчи, дай ему — то есть дедушке — сказать!» И дедушка говорит, что считает верным, потому что не сказать, по его мнению, значит изменить семье, а измена семье для него еще большее, непростительное преступление чем... чем, скажем, бегство из окопа. Вот только он, благодаря своей нечеловеческой доброте или благодаря своей в высшей степени человеческой боязливости, даже у себя дома не решается прямо и незамаскированно высказать свои соображения относительно того или другого жизненно важного для их семьи — и только для их семьи — вопроса, а непременно должен прикрыться иносказаниями, придать своим мыслям форму басни, притчи, пословицы или сказки, иной раз даже нарочно, специально для этого случая в эту минуту придуманной. Но прежде чем осмелиться что-нибудь ска-


зять, он долго не решается, замирает от робости, сто раз взвешивает в уме каждое слово, подбирает, смягчает, приукрашивает каждую фразу, чтобы не дай Бог не обидеть, не уколоть, не огорчить будущего слушателя его байки. И при этом мечется, как пойманый зверь, по комнате, волнуется, нервничает, переживает, — то отодвинет стул, торчащий, будто бы, на дороге, то переставит на середину стола лампу, которая, будто бы, стояла на самом краю и могла свалиться; то, присев перед печкой, раздувает огонь, ворошит жар, ворочает поленья, пока не обожжется и не вскочит, облизывая палец. Словом, возится и хлопочет до тех пор, пока не выведет из терпения слушателя и не дождется от него просьбы — «Ладно, не томи, говори уж, рассказывай, что ты там надумал». Но и эти тщательно взвешенные и надежно замаскированные речи тоже надо уметь говорить — это немалое искусство, тут малейшая неловкость может испортить дело. Можно вызвать в слушателе раздражение, противоречие, даже враждебность. Поэтому в случае необходимости надо, во-первых, перенести действие сказки в несуществующую страну, в небывшее время и, таким образом, с самого начала застраховаться от любых придирок и обвинений. Но для рассказывания сказок нужно еще и особое, добавочное умение, нужны талант и подготовка. Тут все имеет значение, даже то, где и как рассказчик сидит, как он «расположился» на стуле и как с самого начала расположил к себе слушателя. Вот почему, наверно, дедушка так долго «устраивается» со своим стулом — словно собирается так перезимовать: выбирает место не слишком близко и не слишком далеко от печки, на самой границе прохлады и тепла, чтобы ни жар, ни холод не беспокоили его во время рассказа. Для дедушки главное во всем — мера, умеренность; все умеренное полезно, а все чрезмерное — вредно. Он совсем не мелочен — просто чувство меры в нем сильно развито, как говорит обычно бабушка, когда сердится на дедушку. — «Нет меры, нет вкуса», — говорит дедушка и кладет крепкое, жилистое полено себе на колени, чтобы руки у него были заняты. Рассказывая, он поглаживает полено: — «То ли было, то ли не было, а лучше Бога ничего быть не могло, жил один царь, и была у него одна дочь». — «Одна или две?» — прерывает его тетя. — «Одна у него была дочь,




писаная красавица. При свете ее сияющей красы люди садились обедать», — продолжает дедушка, не понадеясь на удочку дочери. — «Пусть сияет красой ее нос, — смеется тетя. — Как ее отец был царем, так наверно и она была красавицей». — «Дай ему сказать, что тебе все не терпится!» — волнуется бабушка. Дедушкина притча и для нее — определенное указание, к чему-то обязывающее; поэтому она ничего не должна пропускать мимо ушей. А дедушка ведет свой рассказ — спокойно, невозмутимо; если он поддастся на поддразнивание дочери и хоть слегка утратит хладнокровие, то из детски-простодушного и титанически-терпеливого повествователя сразу превратится в обыкновенного, легкомысленного, болтливого и безответственного сказочника. Итак, он поглаживает полено у себя на коленях и ведет свой рассказ. — «Красавица-царевна страдала диковинной болезнью: она могла в течение целого дня не произнести ни слова — все сидела и читала, пока у нее не вырывали книжку из рук. Как ни старались, как ни ловчили хитроумные няньки да мамки, никак не могли добиться, чтобы она заговорила. Она даже отцу не объясняла, о чем она думает, что ее беспокоит, что ей нужно» — «Я же не радио, чтобы безостановочно разговаривать с утра до вечера!» — пожимает плечами тетя, насмешливо вздернув брови, со сдержанной улыбкой, как бы удивляясь столь несправедливым укорам. — «Даже под подушкой у нее всегда была книжка, она засыпала с книжкой и просыпалась с ней», — рассказывает дедушка. А тетя еще выше поднимает брови: «Господи, убейте меня, не пойму, чем же книжка-то вам так досаждаёт?» — «Отчего ты все принимаешь на свой счет, ты ведь еще и работаешь?» — успокаивает ее бабушка. А дедушка продолжает рассказывать о царской дочери: «Книжку она читала все время для того, чтобы не заниматься никаким другим делом. Но кому бы пришло в голову заставлять царевну что-нибудь делать? Напротив, няньки и мамки непрестанно просили и уговаривали ее — Пой, пляши, хоть на голове стой, только не сиди так безмолвно, пользуйся жизнью, пока не поздно, не поддавайся печали, не убивайся, а если тебя что печалит, надо высказать, чтобы стало легче на сердце. Но куда там, — рассказывает дедушка, — день ото дня царевна все больше и больше немела. Во дворце ночей



не спали люди в тревоге из-за ее немоты. Сам царь ворочался в постели до утра, измученный заботой, не зная, что делать, как помочь дочери, как ее исцелить. Опостыдело ему царство и корона, и сама жизнь — лягу, сложу руки на груди, думал он, и буду лежать так, пока смерть не придет. А дочка его все молчала. Весь царский двор, все царство были ошеломлены, потрясены до глубины души этим странным ее молчанием. — Это дурной знак, постигнут нас еще большие беды и несчастья, говорили в народе» — «Ха, ха, ха, — нервно смеется тетя. — Чего вы-то боитесь? Первыми убежите. Впрочем, с чего вам убегать, от чего спасаться, это я убегу, уеду отсюда, покину эти места, раз я вас так раздражаю, раз вы из-за меня так несчастны», — она смеется, но уже немного со злостью, однако слушает дедушку, интересуется, чем кончится сказка о девушке-молчальнице. — «Царю, разумеется, не хотелось разглашать свои домашние тайны, однако и скрывать уже не имело смысла, весь Сигнахи... гм, гм... все царство уже судило и рядило о дворцовых делах, — продолжает дедушка. — Вот царь в один прекрасный день и объявил на все царство: дескать, так и так обстоят мои дела, помогите мне, кто как и чем может. Ну, и сколько ни было в государстве лекарей, гадалок, знахарей, целителей, всех собрали во дворце». — «Ох ты, уж не собираетесь ли меня к врачу свести? — опять не может утерпеть тетя. — Или, может, вы и без врача уже поставили мне диагноз? — улыбается она двусмысленно. — Может, вы меня за сумасшедшую считаете?» — невольно повышает она голос, так как внезапно, неведь отчего, ей становится до слез жаль самой себя, не хочется ей быть сумасшедшей, боится она безумия и безумцев. Когда к ним приходит Кола-полоумный, она уходит из дому, не может, не в силах на него смотреть, хотя тот, несчастный, ведет себя ничем не хуже любого другого. Не дай Бог! Будь ей Бог защитой! Но она сама во всем виновата, она все раздувает и преувеличивает, делает из мухи слона и всячески распаляет себя, хотя любой другой на ее месте вообще не стал бы обращать внимания ни на муху, ни на слона. Старое она презирает из боязни перед новым, с новым заигрывает назло старине, а на деле ничего не понимает ни в том, ни в другом, к тому же, раз она так говорит, то, значит, так и думает — тайно,



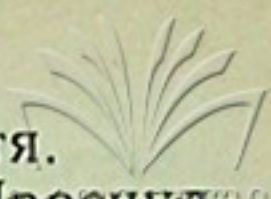
в глубине души. Так что не совсем уж необоснованно то, что она говорит. — «Да, да, конечно, я сумасшедшая и даже хуже того, — продолжает она, чуть смешавшись, с досадой, злясь уже не на старших, а на себя самое. — Иначе я не плясала бы под вашу дудку, не считалась бы с вами, не оглядывалась бы на вас все время... Да раскройте же глаза, посмотрите, что делается на свете! Девушки моих лет носят высокие каблуки, ходят на танцы, ночи проводят в компании за столом. Мне одной ничего этого нельзя. Мне ничего не разрешается. Только стучать костяшками на счетах. Потому что я сумасшедшая, такая же, как Кола-полоумный. Как бы мама не огорчилась, как бы папа не испугался. Кто же, кроме сумасшедшего, может так жить? Как бы не узнал Ушанги Чучулашвили, как бы не увидел Серго Цалтвинашвили, как бы что не сказала Евгения Дугладзе... Чего там! Чего там еще! Но кто, собственно, что может сказать? У кого повернется язык осудить другого человека — ведь все друг друга стоят. Один другого хуже! Вы одни остались такими... э-э-э-э — не сразу находит она нужное слово — такими недотепами. Да, да, именно недотепами! Не то вы давно уже стали бы такими же, как все они. Ну, что, что сказал вам ваш приятель доктор? Что я сумасшедшая? Душевнобольная? В Тбилиси меня, на улицу Камо, или еще куда подальше, в Сурами?» — «Нино! Нино!» — кричит на нее, останавливает, унимает ее бабушка, старается привести ее в себя. А дедушка все ведет свой рассказ, но и он сбит с толку и не может свести концы с концами, никак не умудрится сказать наконец-то, из-за чего он вообще начал эту проклятую притчу. Чтобы успокоить дочь, чтобы задобрить ее, он, как может, «смягчает», «отделяет» свое повествование. — «Не были нужны этой девушке никакие врачи и целители, — добавляет он поспешно. — Была она и на глаз хороша, и телом здорова — только молчала все время, никому своих мыслей не открывала. Вот тебя молчалиницей никак не назовешь, слова не даешь сказать ни старшему, ни младшему», — внезапно вскидывается он, но сразу остывает и продолжает рассказывать: — «По ночам садилась она в постели, оторвавшись от подушек, и сидела так подолгу тихо и недвижно». — «Следите за мной? Даже по ночам следите?» — выходит из себя тетя. Но дедушка не сдаётся, ему не до объяс-



нений, он должен довести до конца никому уже не интересный свой рассказ. — «Но там, где врач бессилён, может помочь гадалка, — продолжает от торопливо. — Так вот, стоило ведунье бросить взгляд на царевну, как она и говорит...» — «Ах вот, значит, в чем дело! Срам, позор! Маргариту позвали погадать? Никого не нашли лучше? И что она мне нагадала — дорогу или смерть?» — смеется тетя, а губы у нее белы от ярости — «Хватит, спасибо, я уже сыта по горло вашими баснями, — вскрикивает она вдруг. Сердитым, резким щелчком отбрасывает со лба свесившуюся прядь, как будто хочет сделать ей больно, чтобы волосы раз навсегда забыли эту свою скверную привычку. — Я сама как-нибудь сумею позаботиться о себе», — говорит она, уже встав на ноги, направляясь к своей комнате, с прижатой обеими руками к груди книжкой-дитятком. Но когда дедушка говорит вслед — «А тебе хоть не интересно, что сказала гадалка?» — она приостанавливается в дверях, уже наполовину войдя в свою комнату, и глядит через плечо на дедушку глазами, горящими от жадного, неудержимого любопытства, однако, заранее отвергая, заранее считая бессмысленным любой возможный ответ выдуманной гадалки; а когда дедушка выпаливает разом, на одном дыхании: «Гадалка сказала: вашей дочери пришла пора выйти замуж», — разозленная, взбешенная, сама не своя от ярости, она с такой силой захлопывает за собой дверь, что с чайника, кипящего на печке, слетает крышка, которая пускается со звоном кружиться волчком по комнате. А Нико тотчас же раскрывает глаза.

— Что это ты, дружок, совсем уже просыпаться не хочешь? — улыбается ему тетя.

Книгу она по-прежнему обеими руками прижимает к груди, только теперь на ней другое платье, она иначе одета, так как в тот день, когда дедушка рассказывал ей сказку, зима еще лишь начиналась, а теперь она подходит к концу, сейчас последний зимний месяц, февраль. Нико, разумеется, узнает тетю, но не может одолеть сон, — ему, собственно, самому неясно, когда он спит, а когда бодрствует. Это потому, что у него все наоборот, не так, как у всех: когда другие спят, он настороже, как бездомный пес, а когда другие бодрствуют, он, само собой, погружен в глубокий сон.



— Проснись! Проснись! — взывает к нему тетя.

— Перестань, не видишь, я уже не сплю... Проснулся, — бормочет Нико, но глаза у него еще подернуты пленкой со сна. Он с трудом ворочает языком, словно пьяный.

— оставь его. Смотри, не напугай! — заступается за Нико бабушка.

— Не ты ли мне велела его разбудить? Не вы ли изволили объявить, что скоро придет доктор? — отзывается тетя: книгу она держит теперь впереди себя, в вытянутых руках, как икону.

Она, эта книга, не меньше значит для нее, чем икона. Тетя и дня не может прожить без этой книги. Она смеется над Маргаритой, но сама еще пуще той, — записная гадалка. Гадает она по книге. Житья не даст бабушке, Нико и, если дедушка дома, то и дедушке, пока не погадает. Притом в отличие от Маргариты не один, а много раз, все снова и снова, раз за разом, без числа — пока не прочитает всю книгу, не склюет всю ее премудрость до самого дна. — «В этой книге начертана судьба каждого из нас», — говорит она взволнованно, с твердой верой, перед тем, как отыскать названную ей страницу и строку. А главное — она разговаривает со всеми — с матерью, с отцом, с Нико — в высшей степени вежливо, внимательно, чутко, терпеливо, она просто — олицетворение учтивости, и сразу не поймешь, относится ли она серьезно к своему гаданью или, так сказать, шутит всерьез. — «Вы сказали — страница двести шестнадцать, так? Седьмая строка сверху? Сейчас, сейчас. Вот и она... «Там кто-то стонет с давних пор». Ого!» «Там кто-то стонет с давних пор», — повторяет Нико про себя и почему-то вспоминает мертвенно-желтые ступни больного, отвернувшегося к стене, закрытого с головой одеялом — там, в больнице: сползающее белье, потные ягодицы...

— Ситы-сивса-симом-сиде-силе-сиви-сидел-сито-сигосиче-сило-сиве-сика? — спрашивает тетя.

— Какого человека? — недоумевает Нико.

— Сия-сито-сиже-сиви-сиде-сила-сино-сили-сица-сине-сибы-сило-сиви-сидно-сион-сибыл-сини-сичком-сипе-сире-сиве-сишен-сиче-сирез-сисе-сидло, — скороговоркой шепчет тетя. Наверно, боится, как бы бабушка не услышала и не поняла, о чем речь.

— Где ты его видела? Когда? — от изумления Нико отрывается от подушек и садится в постели.

— Ложись! Ложись сейчас же! — сердится тетя и одной рукой (другой она прижимает к груди книгу) с трудом укладывает его на подушки. — Ты что, с ума сошел? Как ты себя ведешь?

— Так зачем же вы меня разбудили? — сердится и Нико?

— Мы целую неделю тебя будим, соня! Никак не можешь очнуться, глаза продрать, — смеется тетя.

— Бабушка! Бабушка! — зовет Нико. — Скажи, чтобы она меня оставила в покое.

— Проснись, милый, скоро доктор придет, — отвечает бабушка.

— Это мы знаем. Об этом уже говорили. Это уже всем известно, — бормочет, брюзжит Нико из-под одеяла.

Тетя смеется, но не взаправду, а деланно, напряженное, нетерпеливое ожидание написано на ее лице. Неподвижным взглядом, не мигая, всматривается она в лицо Нико, и тот понимает, догадывается, чувствует, о чем его хочет спросить, чем так лихорадочно интересуется его тетя.

— На папу был он похож. Я с первого взгляда даже подумал, что это папа, — говорит он прежде, чем тетя успевает задать ему вопрос.

Но тетю явно не удовлетворяет его, казалось бы, исчерпывающий ответ; она словно ждет от Нико большего — как будто, если Нико захочет, если сделает усилие, напряжет память, то скажет то самое, чего она ждет от него. Прижимая книгу к груди, она опускается на колени у его постели, так что головы их оказываются на одном уровне, и чуть ли не касается его лица своим, полным напряженного ожидания и надежды лицом, словно хочет приложиться к нему, как верующая к образу, к олицетворению своей веры, и настолько сильно это стремление, это желание верующей, что Нико всем своим существом ощущает их; Чувствует, видит, как придвигаются к нему застывшие, неподвижные губы тети и невольно сам напрягается, мурашки пробегают у него по коже, как будто поцелуй тети — смертный грех, адское преступление — но ведь это и в самом деле не просто родственный поцелуй, — как об этом нетрудно и до-

гадаться — а вместе с тем и дар верующего, дань раба и подношение льстеца. А ему не полагается ни того, ни другого, ни третьего, потому что он ничего этого не заслужил, потому что он сейчас совершенно бессилен, ничем не может быть полезен своей тетке, не оправдывает ее надежд. Он не в силах ничем ей помочь — а она ведь, наверно, привезла его из Батуми потому, что рассчитывала на него, так как ее женский ум и безошибочный инстинкт подсказали ей, что она днем с огнем не сыщет более верного, преданного человека, чем Нико. А ей настолько необходим был такой человек, такой друг, что она не остановилась ни перед чем, не испугалась ни войны, ни дальней дороги, — вообще ничего не испугалась... И как только они остались одни в поезде, как только оказались среди чужих людей наедине, тотчас же попросила у него помощи — но при этом и не задумалась ни на минуту, можно ли ждать помощи от Нико, способен ли Нико вообще кому-нибудь помочь. Правда, он всячески строил из себя взрослого (а что ему еще оставалось?), курил, пускал дым не переставая, но толком даже не мог понять, что от него требовалось, что за поручение дала ему тетя, почему он должен был спросить какую-то женщину, мать погибшего сына, не оказался ли случайно в живых тот, кого считали мертвым? Но, во всяком случае, он понимал, догадывался, какое огромное, потрясающее значение имело для его тетки разъяснение всей этой неразберихи. Когда он впервые услышал от кого-то, что в войну дети растут так же быстро, как в сказках, он от радости, кажется, в самом деле прибавил в росте, так как детство (обманутое детство!) уже томило его, он был сыт детством по горло, не как сладостями, которых уже не принимает душа, а как тошнотворно прокисшим кушаньем, вызывающим отвращение, и всем существом, всем сознанием стремился к взрослости, как измотанная лошадь к стойлу. В особенности после того случая, перед булочной, когда мама еле привела его, продрогшего до костей, почти уже теряющего сознание, в чувство — вернее, родила его вторично на улице, среди батумской слякоти, под стенами запертой булочной, и родила уже другим, иным, более сильным, стойким, способным все вынести... Но тогда, в Цнори, среди тревожно шепчущихся тростников, вовлеченный на этот раз действитель-

но в дела взрослых, превышающие его возможности и душевно для него еще непосильные, да и неуместные, он совсем не мечтал быть взрослым, не жаждал, чтобы, надеясь на него, или, что еще хуже, при его посредничестве, кто бы то ни было, хотя бы даже его родная тетка, выясняла вопрос своего бытия или небытия. И вот именно там, среди зловеще, недобро шепчущихся тростников, он как-то сразу осознал, или скорее почувствовал, что именно с этой целью его специально привезли из Батуми; для того, чтобы поручить ему это щекотливое дело, тетя, еще до того, как он сам сел в вагон, приехала, переменяв два поезда с пересадкой в Батуми и сразу вернулась назад уже вместе с Нико, так как не могла найти никого более верного и надежного, чтобы доверить ему свой безумный замысел, свою навязчивую мысль, — и не просто доверить, а ему же и поручить исполнение задуманного плана. При этом она так торопилась, так волновалась и переживала, как будто, задержись они хоть на день, уже не нашла бы на прежнем месте ни этих недобро шуршащих тростников, ни мазутных луж, ни квакающих в мазутных лужах лягушек и, главное, ни того призрачного, угрюмого, опустелого дома. Но тогда Нико осрамился, не оправдал надежд тетки — хотя, по правде говоря, самый замысел ее и не заслуживал иного, успешного конца; в конце концов, даже если бы Нико осмелел настолько, чтобы заговорить с матерью погибшего юноши, ничего бы от этого не изменилось: жизни в этой несчастной женщине было едва ли больше, чем в ее погибшем сыне, и она все равно не смогла бы сказать словами больше, чем сказала без слов — так что Нико опять-таки вернулся бы ни с чем к ожидавшей в тростниках тетке, и не смог бы лодкрепить ее высосанные из пальца надежды и предположения.

И сейчас повторяется то же самое, и опять он не может помочь тете ничем, и все по той же причине: он не знает и не может знать того, что интересует тетю, что она хочет узнать от него. Он всего лишь мельком глянул на портрет юноши в том доме; и в комнате царил полумрак, и он чувствовал себя совсем потерянным, мысли у него разбегались... Так что сейчас было бы бессовестно с его стороны утверждать или отрицать то, о чем у него нет твердого, обоснованного мнения. Действитель-

но, как он может сказать с уверенностью тете, был или не был убитый у старой церкви человек ее возлюбленным — погибшим или пропавшим без вести в первый же год войны цнорским Сосо, то есть, иными словами, тем солнечным юношей из сказки, который будто бы должен в один прекрасный день подняться сюда, в Сигнахи и спросить именно тетю и никого больше: «Где тут, девушка, гостиница в этом городе, будь он неладен?»

Историю своей однодневной любви тетя рассказала Нико уже в поезде — доверила ему самую большую свою тайну, то, что стало «смыслом ее жизни», как она говорит сама; и хотя с тех пор у тетки с племянником не раз случались несогласия и даже доходило до ссор, но не было случая, чтобы одна стала кусать себе локти, сожалея, что неудачно выбрала поверенного своей тайны, а другой злоупотреблял своей осведомленностью и использовал ее во вред своему минутному «врагу». Вот почему он так встревожен, озабочен и говорит тете: «Но ведь я же его не знал!» — прежде чем она успеет его поцеловать.

Тетя быстро поднимается с колен, отряхивает юбку, потом снова прижимает обеими руками книгу к груди и говорит: «А я твердо уверена, что человек, которого вы убили у старой церкви, был Сосо».

— Послушай, довольно, неужели ты не устала твердить одно и то же? — бросает ей бабушка.

— Это был Сосо. Он шел ко мне, — упрямо повторяет тетя.

— Ладно, хватит, — просит ее бабушка. — Не своди мальчика с ума, он и так перепуган.

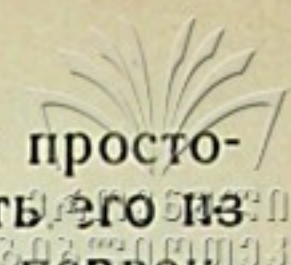
— Я уверена! Я уверена! — кричит тетя так же, как она кричала тогда в Цнори, в тростниковой заросли, но тогда она стояла — и так же упрямо — на том, что Сосо жив, жив, а теперь твердила, что он убит, что это его, верьте или не верьте, провезли на лошади перекинутым поперек седла.

— Лучше дай мальчику умыться. Ведь скоро доктор придет, — спокойно говорит бабушка; спокойствие ее притворное, напускное, она старается остудить гнев своей дочери, как обычно остужает горячую воду холодной, чтобы дать доктору помыть руки.

— Даже мертвого мне не показали! — кипит тетя.

Как позднее узнал Нико, тетьа ходила к Ламаре и умоляла ее попросить мужа, чтобы тот позволил ей поглядеть на труп мельком, хоть минуту. Но в милиции трупа уже не оказалось, он был отослан в Тбилиси. Лейтенант, муж Ламары, ужасно расстроился оттого, что ничем уже не мог помочь и, чтобы успокоить тетю, добавил, что, по его мнению, этот человек был не из здешних мест. Тете показалось, что лейтенант был очень обрадован — да собственно и не скрывал своей радости — и несколько раз даже повторил, что у него словно гора с плеч свалилась; а дело было в том, что труп, пока еще он был здесь, оказывается, украл Кола-полоумный (об этом тоже рассказал тете лейтенант) — украл и тайно похоронил вместо своего потерянного покойника-отца; но милиция, разумеется, без труда отыскала могилу и в конце концов без дальнейших приключений отравила труп в Тбилиси.

— Это был Сосо, разумеется, это был Сосо, — волнуется, печалится, мучается тетя. — Я сразу это поняла, чутьем, инстинктом, еще до того, как его привезли в город. У меня вдруг онемели руки, я не могла пролистать книгу, даже страницу перевернуть, и только повторяла как дура: о, я не ждал от вас, сударыня, измены — как будто это не я, а он мне говорил, он обвинял меня в измене, а я не знала, как оправдаться перед ним, как заставить его поверить, что я никогда, никогда, даже в мыслях не изменяла ему. Вот так я валялась без сил с книгой на постели, как будто я умерла одной смертью с ним, и повторяла, как испорченная пластинка: о, я не ждал, о, я не ждал... Но когда Маргарита позвала меня: «Пойдем, посмотрим, там разбойника убили» — я вскочила как сумасшедшая, даже чулок не надела, платка на голову не набросила, так и вылетела, словно выгнанная из дому жена, босая и простоволосая на улицу. — «Чего ты копаешься, выходи, пошевеливайся!» — кричала мне Маргарита, а у меня от спешки сердце готово было выскочить из груди, я едва переводила дыхание. За стены хваталась, чтобы не упасть и шептала стенам: «Убили Сосо! Убили Сосо!» — частит тетя возбужденно, лихорадочно, с кривящимся лицом, прижимая к груди книгу, как будто это в самом деле не книга, а «дитятко», дитя, незаконное дитя, рожденное ею от Сосо, зачатое на мотоцикле, во время головокру-



жительного полета в беспредельных небесных просторах, и поэтому нельзя ни на мгновение выпустить его из рук, иначе оно тотчас же улетит, ибо является первенцем не матери с отцом, а двух скрестившихся желаний, двух вспышек мечты, и рождено для полета, приспособлено лишь к полету, умеет только летать.

У тети с давних пор была в Цнори одна подружка и, как это вообще свойственно девочкам-подросткам, они были привязаны друг к другу так, что не мыслили жизни врозь. Эта подружка училась в Сигнахи и до окончания техникума жила здесь, в наемной комнате; а потом то она приезжала в гости к тете, то тетя ездила к ней — отправлялась с утренним автобусом и возвращалась с вечерним — и это не столь уж далекое и сложное путешествие (в автобусе она была всем знакома, и все прекрасно знали, к кому она едет в Цнори или от кого она оттуда возвращается — одетая, по возможности, по-взрослому и с пучком на затылке, как у своей старшей сестры) вполне удовлетворяло ее самолюбие и казалось ей вполне достаточным для доказательства того, что она уже не девочка. Вернее, чтобы доказать это прежде всего самой себе, а потом уже родителям и вообще всему свету. Тогда она была еще в том возрасте (сейчас она называет себя старухой), когда дороже, ближе, достойней доверия и надежнее, чем подружка, нет никого на свете, когда подружка определяет не только твои мысли, но всю жизнь этих лет, жизнь, которая еще не вышла полностью из-под заботливого родительского надзора и еще не угнездилась навсегда в тени твоего будущего друга и спутника. И вот, покровительство родителей раздражает и угнетает так, как воду — плотина, как заключенного — кандалы, как солдата — угроза трибунала, а мысль о будущем спутнике жизни обязывает, в первую очередь, разрушить плотину, разорвать оковы, упразднить трибунал — иными словами, поскорее избавиться от смешных детских привычек (спать с мамой, прятаться от грома под одеялом, терять дар речи среди малознакомых людей) и быть готовой на все (а чего только не может приключиться в наше время с молодой девушкой!). И ты, как одна из рядовых рабынь природы и времени, ожесточенно разрушаешь плотину, силишься разорвать кандалы, протвишься трибуналу — иными словами, не хочешь

следовать по проложенному, худо ли, хорошо ли, но проложенному родителями пути, а непрестанно стараешься сойти с него, тянешься в сторону, в канавы, в жидкой грязию, в непроходимые колючие заросли, в пашню и в целину — совсем как тот глупый поросенок, которого дедушка и Нико с трудом приволокли с бодбисхевского базара — возясь с ним, они сами перемазались в грязи с головы до ног и были покрыты ссадинами и синяками. В таком же положении оказались и твои родители, так как по их глубокому убеждению девушка на выданье должна сидеть дома, должна дома дожидаться своего счастья, даже если у нее не один, а десяток дипломов лежат в ящике стола, потому что... — «Потому что, — выходили они из себя, — потому что потом хоть кричи на весь свет посреди площади, никто не разберет, правда то, что о тебе говорят, или выдумка». Ты и сама в глубине души примерно так же думаешь, но в соответствии с требованиями времени и возраста считаешь себя обязанной высказать противоположное мнение, напомнить, внушить «непонятливым», что нынче иные времена, что люди теперь иначе думают, и что попросту невозможно больше жить по их (родителей) обычаям, хотя бы потому... «Хотя бы потому — распаляешься ты в свою очередь, — хотя бы потому, что никто теперь не верит в завтрашний день, каждый хочет получить все, что ему причитается сегодня, сейчас. Сегодня. Сейчас. А завтра — завтра кто знает, что еще будет!» — так ты бурлишь, возмущаешься, воюешь, и в этой жестокой, навязанной возрастом войне только подружка понимает тебя, она одна — твоя союзница. Собственно, она в таком же положении, что и ты, она нуждается в тебе так же, как ты в ней, так же как ты она упрямо и слепо, со страхом, к которому примешано блаженство, стремится к чему-то таинственному, и хотя бы поэтому было бы совершенно непростительно тебе не присутствовать на проводах молодого человека, ее родственника, который уезжает ни больше ни меньше, как на войну и вполне возможно, что никогда уже не вернется домой, так что его любимая девушка (не может быть, чтобы у юноши, уезжающего на фронт, не было любимой девушки) станет вдовой, не успев выйти замуж — словом, не будь он даже родней твоей подруге, все равно ты должна поехать провожать его, должна проявить чуткость, выказать ему свое со-

чувствие — как вообще в таких обстоятельствах любая девушка — любимому молодому человеку.

Вот почему, наверно, отнеслась так серьезно тетька к совершенно заурядному приглашению своей подруги — приехать тогда-то и тогда-то, если сможет освободиться, к ней, потому что она провожает в этот день на войну своего родственника. Тетя говорит, что не могла не поехать, так как знала наперед, чувствовала, что в этот день решится ее судьба. И в назначенный день, не раздумывая, отправилась в Цнори, чтобы там, в этом комаринном гнезде спокойно и безропотно принять свой жребий, встретить свою судьбу. Впрочем, в ту пору собственная персона пока еще интересовала ее больше, чем кто бы то ни было другой — или что бы то ни было другое. Она еще была в том возрасте, когда душа и ум полностью заняты непривычными, волнующими, неотвязными и притом, что скрывать, отчасти постыдными чувствами и мыслями, а признаться в этих мыслях, открыть их другим так же трудно, как не признаться, потому что признание равносильно убийству, а непризнание — самоубийству: потому что открывшись — ты противопоставляешь себя всему, чем ты до сих пор жила, а таешься — самой себе, своему «я», своему естеству. И выходит, что одно лишь существование подобных мыслей заставляет тебя быть скрытной именно с теми, кто по-настоящему тебе близок, кому ты свято верила со дня твоего рождения и на кого безоговорочно всегда полагалась; и напротив, подуждает тебя к откровенности и доверию по отношению к случайному встречному — и вполне возможно, удостоился бы твоего доверия и твоей откровенности кто-нибудь совсем другой, не окажись ты именно в Цнори, именно в этот день. Родители уже освободились от тумана и таинственности, они уже давно вышли из твоего нынешнего возраста и поэтому ты уже не веришь им — не можешь доверчиво следовать их руководству, так как для них давно уже окончено и завершено то, что для тебя еще не начиналось.

Примерно такие мысли обуревали тетю, когда она ехала в Цнори, чтобы проводить на войну какого-то совершенно незнакомого ей человека, — и, возможно, она уже любила этого юношу, хотя тогда, в автобусе, это ей и в голову не приходило — она задумалась об этом уже потом, когда тот юноша уже погиб, а она, свернув-

шись, сжавшись в постели (не сидя в ней, как в дедушкиной сказке, а свернувшись комочком, озябнув, как бесприютный щенок), Бог знает в который раз, за минутой за минутой вспоминала тот единственный вечер и все, хоть чем-нибудь связанное с тем единственным вечером, хоть как-нибудь обосновывавшее и подтверждавшее, что когда-то действительно был — хоть в это уже столь трудно поверить — этот вечер, когда она, оказывается, любила и не догадывалась об этом; но как ей было догадаться, когда она вообще еще ничего не знала о любви, и если иногда все же думала о ней, так только как бы из соперничества с сестрой, так как хотела и сама полюбить такого же замечательного человека, какого любила ее старшая сестра, хотела родить такого же точно мальчика, как Нико и, главное, уехать с мужем как можно дальше отсюда, из этого каменного гнезда, в любой другой город, если в Батуми нельзя жить обеим сестрам одновременно — и приезжать как сестра к родителям в гости, да и то лишь изредка, только в летние месяцы; старшую сестру она не просто любила, но и видела в ней пример, старалась во всем походить на нее, даже причесывалась как она, и однако всякий раз почему-то с желчью думала о ней — словно та была ее главной соперницей, даже не главной, а единственной, как если бы такой жизнью, как старшая сестра дозволено было жить только одной из них, и раз старшая уже жила «так», то ей, младшей, нельзя было следовать ее примеру, даже через некоторое, короткое или долгое время. А потом, когда завидное счастье старшей сестры неожиданно для всех превратилось в тяжкую беду, она чуть было не наложила на себя руки (и этого она тоже не скрыла от Нико — рассказала, как целый месяц прятала под подушкой свитую дядей Сандро веревку), так как нисколько не сомневалась, что и болезнь зятя, и даже сама война были последствием ее завистливости и недобрых ее мыслей. Когда тетя думала, что сестра ее живет райской жизнью, та, оказывается, томилась в аду; когда тетя говорила со смехом, что сестра ее нежится в праздности, пальцем о палец не ударит, та, оказывается, ожесточенно боролась, спасая две жизни: одной рукой вцепилась в кровать мужа, чтобы ее в недобрый час не перетащили в палату смертников, а другой обхватила сына, оберегая его от ужасов

голода, холода, страха, безнадежности, заброшенности... Но тетя, грешным делом, и в этом завидовала ей. С каким-то жадным нетерпением ждала она писем, телеграмм, любых вестей из Батуми; она завидовала старшей сестре, но к зависти этой были примешаны восторг, благоговение, гордость — она и сама хотела бы иметь кого-нибудь столь же близкого и несчастного, чтобы за него, ради него бороться, воевать, унизиться — и через унижение возвыситься — пожертвовать молодостью и женской своей судьбой, чтобы лизать, как собака Амрани, цепи его неисцелимого недуга и вообще с готовностью, не раздумывая, отказаться от самой себя. И оттого до знакомства с родственником подруги разговоры о судьбе сестры и ее больного мужа так или иначе утоляли в ней неодолимое стремление к беседам о любви вообще, о ее власти над людьми. — «Ну и надоела ты мне с твоими сестрой и зятем!» — отмахивалась от нее порой взволнованная услышанным подруга — но тетя не могла отказаться от излюбленного предмета разговора, так же, как, впрочем, подруга не могла перестать ее слушать. Они ведь были уже почти женщины, вернее, готовы были вот-вот превратиться в женщин, и чувствовали, что и в их сердцах в любую минуту могла вспыхнуть любовь, а так как наперед не знали, на какие безрассудства могла она их толкнуть, то и старались нескончаемыми разговорами о величии и могуществе любви как бы оправдать еще не совершенные ими, но неизбежные будущие безумства перед лицом тех, кто впоследствии захотел бы осудить их за эти сумасбродные, подсказанные любовью поступки. Из подражания старшей сестре, из соперничества со старшей сестрой, под впечатлением ее прельстительного счастья и еще более прельстительного несчастья, зрела в ее душе самоотверженная, неистовая, неукротимая и божественно всеобъемлющая страсть, но сама она пока не разбиралась в ней, так как еще и не была знакома с родственником своей подруги; да, впрочем, знакомства с ним и не было достаточно, чтобы она могла полностью постичь тайну, величие, силу этой страсти — нужно было больше, гораздо больше, а именно, нужна была гибель юноши, смерть, превращающая в пепел все мечты, преграждающая все пути, убивающая все надежды, и все же достойная почтения, преклонения, пиетета, поскольку

для живых смерть — лишь олицетворение умершего дорогого человека и только. Вполне возможно, что тете не привелось бы испытать ничего похожего, если бы подруга не позвала ее к себе в тот день, или, скажем, ее приглашение не дошло бы случайно по назначению. Разумеется, тетя волновалась с самого начала, как-то пугала ее встреча с незнакомым молодым человеком, с которым предстояло сразу же проститься и притом, как выяснилось, навсегда. В автобусе она все успокаивала себя: какое мне дело до этого парня, я оказываю уважение моей подруге, еду, как обычно, к ней в гости. Но что-то подсказывало ей, что на этот раз это посещение не будет обычным, таким, как всегда. От какого-то неясного ожидания у нее сжималось горло, казалось, там застряла проглоченная косточка, ей было трудно дышать, хотя автобус был открытый, с брезентовым верхом, — но то, что с нею было, что она пережила потом, превышало всякое ожидание, любую догадку. Между тем автобус неспешно, как всегда, как каждый день катился по спиральному серпантину дороги, мимо одурманенных собственным запахом ореховых деревьев, вдоль заросших боярышником, гранатом, шиповником и ежевичными кустами пестрых склонов, и ничего особенного, неожиданного, непривычного не происходило ни в автобусе, ни снаружи. Только она сама была как-то необычно взбудоражена, хотя на взгляд, наверно, ничего не было заметно — сидела как всегда выпрямившись, подставляя лицо ветру. И ветер, как обычно, трепал ей волосы, овеивал шею, щеки, платье, которое еще туже обтягивало ее тело, словно напоказ всем пассажирам автобуса: вот, смотрите, убедитесь сами, как она возмужала, созрела, как незаметно превратилась в женщину. А тетя равно стеснялась как скрывать, так и показывать свою женскую зрелость и, испуганная ожиданием чего-то неопределенного, но, главное, для нее чрезвычайно важного и значительного, никак не могла успокоиться. унять сердце, руки, волосы... То она оправляла тесно облепившее ее платье, то приглаживала растрепанные волосы. Ей казалось, что все на нее смотрят, и не терпелось добраться до места, выйти из автобуса. Так, с часто бьющимся сердцем, явилась она к своей подруге. Но там волнение охватило ее еще сильнее. Она сидела за столом, не раскрывая рта, как немая, с пылающим,

как мак, лицом, сердце у нее колотилось, и она в душе бесилась на себя: «Что это со мной, как я себя веду!» Так она ни разу не заговорила и не проглотила ни кусочка, словно сидела за траурным столом. «Да, да, правы наши — нельзя мне показываться на людях!» — выходила она из себя в душе, сердясь на свою дикость. Не то, чтобы ей не хотелось — она просто не могла выдавить из себя хоть слово, улыбнуться — короче говоря, держаться по-человечески. Ей не удавалось даже просто, естественно, непринужденно, а главное, без умиления и жалости взглянуть на остриженного наголо, печально улыбающегося юношу. И чем дальше, тем больше привлекала она к себе общее внимание. Она и куриной нежки не взяла, хотя бы из вежливости, к себе на тарелку — и ей со всех сторон стали предлагать то одно, то другое блюдо, все что было на столе; она не прикасалась к вину — и все стали требовать, чтобы она хоть раз осушила свой бокал: за отъезжающих, мол, полагаются пить до дна; она за весь вечер не проронила ни слова — и все наперебой стали просить ее почитать стихи Галактиона Табидзе: слышали, мол (наверно от подруги, разумеется от подруги — чей смех все время отдавался у нее в ушах), что вы хорошо стихи читаете. Словом, она уже не надеялась, что наступит когда-нибудь конец этой бессмысленной, позорной попытке. Но больше всего, больше даже, чем парень со стриженной головой, вызывал в ней смятение и испуг смех подруги (тетя говорит, что в тот день кончилась их дружба — как-то само собой, безболезненно выбросила она подругу из сердца), так как до того она никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь смеялся так громко, так неприятно, так фальшиво и так вызывающе. — «Смотрите, смотрите, а ведь она принимает комплименты как должное», — смеялась подруга, и тетя, смущенная и удивленная, посмотрев ей в лицо, натыкалась на застывший, напряженный взгляд неестественно блестящих глаз, взгляд, чуть ли не полный ненависти, словно подруга на нее за что-то сердилась или к чему-то ее обязывала. А тетя волновалась, тревожилась, еще больше сердилась на себя за свою недогадливость, и рука, лежащая на столе, начинала у нее, должно быть от напряжения, снова дрожать, и в полном смятении, думая в отчаянии — «что это со мной делается!» — она поспешно прятала

трясущуюся руку под стол, зажимала ее между коленями, чтобы она, эта непослушная рука, не вытворила, как невоспитанный, вышедший из повиновения ребенок, что-нибудь неуместное без согласия хозяйки.

А потом — она и не помнит, как это получилось — тетья и родственник ее подруги шли вдвоем по узкой улочке. Сперва ей бросился в нос душный, сладковатый запах цветущих акаций, и уже потом она обнаружила рядом с собой едва знакомого молодого человека. — «Что за холод в разгаре лета!» — говорил ее спутник, хотя тете не было холодно, и насколько ей помнится, она не жаловалась, что зябнет. Вечерело. По обеим сторонам улицы тянулись двумя рядами акации. В сумерках казались особенно тяжелыми и пышными белые гроздья их цветов. Тетья хорошо знала Цнори, но сразу не сообразила, где они находятся и куда их должна была привести эта полутемная, полная дурманящего аромата улочка. Из-под забора скалила зубы и сердито рычала собака. Правда, она не смотрела в их сторону, как бы даже нарочно отводила взгляд, но явно рычала на них, недовольная их неожиданным появлением. — «Ну чего ты, за что ты на нас обижаешься?» — сказал юноша и направился к собаке. А тетья от страха замерла на месте. Даже и сейчас она не могла заставить себя вымолвить слово, чтобы остановить своего спутника. А тот подошел к злобно рычащему псу, наклонился к нему, упершись руками в колени, и приветствовал как старого знакомого: — «Как поживаешь, что поделываешь, что делается на свете?» Потом присел перед псом на корточки и погладил его по голове. Собака продолжала ворчать, но теперь уже, пожалуй, не от злости, а от удовольствия. А тетья стояла все на том же месте, застыв от страха и прижав ко рту сжатые кулаки; но когда юноша подозвал ее: «Иди сюда, познакомься», — она тотчас же пошла к нему, словно только и ждала, чтобы ее окликнули. Парень силой разинул пасть собаке — чуть что не разорвал ее — и сказал тете: «Хочешь, засунь псу руку в рот». Но тетья поспешно спрятала руки за спину, крепко сжав кулаки, как будто боялась, что их силой запихают собаке в глотку. «Ну и шальной парень!» — подсмеивалась она в душе над своим спутником, будущим фронтовиком. А тот отпустил собаку и поднялся на ноги. Но на этот раз пес сам распялил

пасть в зевоте, поскулил немного и, укрощенный и опечаленный, растянулся тут же под забором.

Птицы с щебетом и чириканьем устраивались на ночь на ветвях деревьев. Местами все еще мерцали белизной тяжелые, пышные гроздья цветов акаций. Где-то вдали прогудел паровоз, но как-то негромко, неуверенно, словно это был не настоящий паровоз, а только притворялся им, подражал ему. — «Мне пора уже в Сигнахи, я и так чересчур задержалась», — сказала вдруг тетя. Видно, паровозный гудок позвал ее в дорогу — а дорога ее пока вела не дальше, чем в Сигнахи. «Даже если придется пешком идти», — добавила она в уме, наверно, чтобы укрепиться в своем решении. Сигнахский автобус давно уже ушел, но она рассчитывала выйти к мосту и там остановить какую-нибудь попутную машину, или, наконец, в самом деле добраться до дому пешком, напрямик, мимо старой церкви. Правда, ночью идти одной было страшновато (она не рассчитывала, даже и в мыслях не допускала, что стриженный ее спутник предложит себя в провожатые — хотя бы потому что это ведь сама она приехала в Цнори его провожать), тем более — через лесную глухомань, но что сказано — то сказано, да и вообще ей предпочтительнее было уйти, такая у нее была путаница в голове, так необычно было все, что делалось сегодня. Вернее то, что происходило — происходило противоестественно. Правда, ее как-то успокаивало, обнадеживало присутствие этого незнакомого юноши — но при этом и рождало в ней неясные подозрения — как будто он держал себя не так, как полагается — хотя она и не знала, как вообще держат себя в таких случаях мужчины, все ли они такие как этот новый ее знакомец, или он отличается от других. Однажды, правда, подруга ей сказала, что мужчины все одинаково трусы и лгуны; однако этот не казался ни трусом — руками раскрывал пасть рычащим собакам — ни лгуном. Даже из вежливости не сказал ни разу тете, что она ему нравится, что он хотел бы на ней жениться, что он ради нее снимет солнце с неба и выжмет воду из камня. Впрочем, он, видимо, был все же не вполне равнодушен к тете, — во всяком случае, когда она сказала, что ей спешно нужно ехать домой, в Сигнахи, он почему-то заторопился и сам, разволновался (тетя говорит, сразу изменился в лице,

побледнел, словно от внезапной острой боли), стал вдруг перед нею и схватил ее за руки над локтями. Как будто, не держи он ее обеими руками, она сорвалась бы с места и кинулась опрометью в гору по крутой сигнахской дороге. Довольно долго стояли они так, потрясенные, словно проглотив язык (тетя говорит — словно оба сразу умерли в один миг, одной смертью). Между прочим, тетя понятия не имела как ей самой следовало себя вести, как поступают в таких случаях женщины: вырываются из рук мужчины или ждут, что он дальше будет делать или хотя бы что скажет. Молча смотрела она на юношу в окаменелой неподвижности, напрягшись и невольно выгнувшись всем телом. И никак не могла понять, что это было то самое великое мгновение, которого чуть ли не от рождения ждет каждая девушка и которое тысячекратно и на тысячу ладов представляемое себе в мыслях, мечтах и снах, наступает, однако, в жизни всего один-единственный раз. Она не сразу сообразила, что юноша собирается ее поцеловать, однако быстро, инстинктивно отвернула лицо и тут же почувствовала робкое, трогательно неловкое прикосновение ледяных дрожащих губ юноши сначала к ее подбородку, а потом к горлу. (Так не состоялся, разлетелся на осколки у нас в руках наш первый и последний поцелуй — говорит тетя). — «Пусти... Пустите меня!» — разозлилась она вдруг, но не на стриженного парня, а на себя, на свою бесхарактерность. А юноша решил, что она сердится на него, тотчас же разжал руки, круто повернулся и убежал — но прежде чем сорваться с места сказал, умоляюще глядя на нее: «Не уходи, я сейчас вернусь. Я сам отвезу тебя в Сигнахи на мотоцикле».

Все, что было потом, походило на сон — головокружительный, перехватывающий дыхание. Тетя и сейчас затрудняется спокойно, в подробностях вспомнить все, как было — что следовало за чем, что когда и зачем говорилось — потому что ничто ни за чем не следовало, ничто ни для чего не было сказано, просто существовала беспредельная вселенная и в ней — они двое, превратившиеся в единое существо, закинутые таинственной силой в эту бесконечность. И все казалось таким естественным, как будто и не могло иначе быть сказано или иначе случиться. Над всем царила непреложность

и достоверность сновидения, и не возникло ни малейшей нужды объяснять и оправдывать происходящее ни перед собой, ни перед другими. У тети было такое ощущение, будто она и стриженный парень летели в какую-то даль к никогда не существовавшему гнезду в несуществующем небе. От волнения у нее спирало дыхание, сердце обмирало, душа была полна невыразимым блаженством. Порой она была птицей-фаскунджи, уносящей этого стриженного, обреченного юношу из преисподней, только не посадив его себе на спину, как полагается, как написано в сказках, а напротив, вцепившись ему в спину когтями, потому что не юноша попросил ее о помощи, как говорится в сказке, а она похитила юношу, поскольку ей одной было известно, что его надо спасать. А юноша думал, что все обстоит как раз наоборот, хотя бы потому, что был мужчиной, что сидел за рулем своего мотоцикла и, главное, чувствовал с неиспытанной никогда доселе поистине мужской гордостью, как беспредельно полагалась на него эта случайная спутница, с какой твердой верой в него прижималась к изогнутой дугою его спине — и он, словно спину ему жгло пламя, летел, как комета, сквозь прозрачный сумрак летней ночи, рассыпая искры, с оглушительным грохотом, пыхтеньем, стрекотом, скрежетом. А тете незримый теплый ветер перехватывал дыхание, трепал волосы, забирался под платье и, овевая, ласкал напряженное от ожидания чего-то неведомого тело, ласкал смело, дерзко, сладостно, заставляя ее осознавать красоту, налитость, совершенство собственного тела, с разительной ясностью ощутить таинственную силу своего существа, так ненадежно, неполно закрытого тонкой, воздушной тканью, которую трепал, сквозь которую с легкостью проникал ветер. «Сосо! Сосо! Сосо! — подряд повторяла она имя юноши в уме, и звук этого имени чаровал, изумлял, восхищал и даже чуть дугал ее своей простотой и точностью — словно это было не имя, данное ему от рождения, а прозвище, присвоенное на основании его внешности, характера, повадок и качеств, не в семье, а вне дома, в школе, на улице. Под стриженным его затылком, на стыке с шеей, не скрытая волосами, четко виднелась маленькая ямка, и всякий раз, как она попадалась на глаза тете, у той от жалости сжималось сердце. Его имя рвалось у нее с губ, всем своим

существом она чувствовала, что этим именем роковым образом и навеки уже соединена с ним, как рыба соединена с рыболовом удочкой и проглоченным крючком. Смущенная и ошеломленная этим странным ощущением, она хотела воочию убедиться, существует ли между ними действительно такая связь, но это смятение и это изумление были предвестниками боли, сама же боль еще не началась; и, как человек, внезапно скованный болью, боится глубоко вздохнуть, так и тетя страшилась громко произнести имя юноши, как будто, едва сорвавшись с ее губ, оно превратилось бы в чудовище-дракона и тут же проглотило бы ее. Ей было трудно, ей было страшно произнести это имя, так же как младенцу — переступить первый шаг или человеку с поврежденным глазом — разомкнуть веки. А мотоцикл летел с ревом и стрекотом, стриженный юноша временами поворачивал голову назад и что-то выкрикивал, но тетя ничего не могла разобрать и молча, как глухонемая, улыбалась в ответ — нет, не ему, а его спине, его затылку, трогательной ямке между шеей и затылком. Дальний конец длинного, яркого луча фары мотоцикла плясал в воздухе, тыкался головой в безлюдную, дремлющую дорогу, пробуждал и вырывал из тьмы размытые потоками кручи, запыленные кусты, притихшие ореховые деревья. А мотоцикл летел с ревом, со стрекотом — смелый, дерзкий, вызывающе-шумный, неугомонный — поворот сменялся поворотом и, к сожалению, с каждой минутой приближался Сигнахи, каменное гнездо, только не общее, не соединяющее, а напротив, разделяющее их, так как именно здесь, в этом гнезде менее всего могли они быть вместе. У насельников этого гнезда имелись собственные, раз и навсегда узаконенные представления обо всем на свете, и то, что для тети в эти минуты было пробуждением души, борьбой страстей и еще одним подтверждением вечности высоких чувств, здесь, возможно, сочли бы попросту смешным, а то и еще хуже, приняли бы за невероятное бесчинство, за смертный грех. Вот почему, наверно, ею вновь овладел страх как только мотоцикл вкатился с грохотом в сводчатые ворота городской ограды, и она яростно, с силой дернула за рукав своего стриженного рыцаря, так что чуть не раторвала на нем рубашку: «Стой! Остановите! Уже приехала!» — крикнула она ему в самое ухо и соскочила

с мотоцикла еще до полной его остановки. А потом — «Очень вам благодарна», — сказала она спокойно, равнодушно, с подчеркнутой, бросающейся в глаза и по этому несколько даже насмешливой учтивостью. И все же на мгновение заколебалась, приостановилась, так как именно в эту минуту свет уличного фонаря отразился в черной, блестящей; округлой поверхности бака мотоцикла, и сердце у нее почему-то внезапно сжалось — чего-то ей стало жаль, что-то ее огорчило — как будто силой ссадили ее с мотоцикла. — «Вам — или тебе? — спросил юноша. — Кому ты благодарна — нам или мне?» — и тетя бросила быстрый, удивленный, непонимающий взгляд на его лицо, словно не поняла, о чем он ее спрашивал, или как будто вообще видела его в первый раз. — «Мы ведь уже старые друзья», — сказал юноша с печальной, тронувшей ее до глубины души улыбкой, — и тетя как ужаленная повернулась и опрометью бросилась вниз по пустынной улице. — «До свидания!» — крикнул вслед ей юноша. — «До свидания», — повторила тетя, но про себя, в душе — не оглянувшись и не замедлив шага. А мотоцикл, черный, блестящий, стрекотал, подрагивал на месте, ворчал, а порой и рычал, словно ему не терпелось оторваться от земли...

9.

Похоже, опинить человека, убитого у старой церкви, Кола-полсумный решил еще на площади, когда того (убитого) везли через город на лошади, перекинутым ничком через седло, а сам он, с лопатой на плече, стоял среди волнующегося людского моря, радуясь неожиданно принятому решению, и думал в простоте душевной: «Что ж, отца своего покойного я потерял, так хоть этого похороню с честью, грех замолю».

И так его захватил этот замысел, что совсем нетрудным показалось и его исполнение, в особенности сейчас, здесь, среди этого моря людей, когда всем и каждому вокруг него одинаково было жаль болтающегося ничком на лошадиной спине разбойника, и все одинаково огорчались тому, что даже родная мать бедняги не найдет теперь могилы сына — если, конечно, у него вообще имеется мать.

Кола-полоумный, само собой разумеется, прежде всего собирался явиться в милицию и попросить разрешения на похороны разбойника, уверенный, что милиция охотно на это согласится, хотя бы потому, что избавится таким образом от лишних хлопот. Убить человека — дело немалое и непростое, но и для того, чтобы похоронить его, требуются большие усилия, гораздо большие, чем может с первого взгляда показаться не искушенному в таких делах человеку. Ну, а у Колы-полоумного, с божьей помощью, в чем-чем, а в этом был немалый опыт — он своими руками выкопал в жизни столько могил, что мог бы свободно похоронить в них хоть жителей целого Сигнахи.

Поиски останков своего отца он, разумеется, не собирался бросать и в будущем — но пока останки были еще не найдены, он считал за благо позаботиться об этом чужом покойнике во имя своего родителя, до которого через это, как он надеялся, скорее должно было прийти то, что ему причиталось. Но осуществление плана, родившегося на площади, среди волнуемой, взбаламученной, галдящей толпы оказалось вовсе не таким уж легким делом — пришлось преодолевать столько разнообразных препятствий, что, знай он это наперед, там же на площади отказался бы от своего «безумного» намерения, сказал бы с самого начала: «Не про меня это дело» и, примирившись с неизбежной неудачей, спокойно вернулся бы домой. Но нет — вышло наоборот: в тот вечер он душу вымотал своей жене: «Я так решил и ты должна мне помочь», — долбил он без конца, не переставая, так как действительно верил, что, оплакав и похоронив с честью безвестного покойника, навеки искупит их — его и жены — общий грех и, главное, избавит души множества других людей от гибели. Он был твердо уверен, что замысел этот внушен ему самим Богом — уверен настолько, что в конце-концов и жену убедил в этом (если она не хитрила как обычно, чтобы отделаться от него), — уговорил ее вместе с ним оплакать безвестного мертвеца, воздать тому дань, которую благодаря своему бессердечию и равнодушию — или, если угодно, благодаря своей молодости и неопытности — она в свое время не смогла воздать свекру. Ночь он провел в беспокойстве, в волнении. Когда жене его начинало казаться, что он наконец заснул — он вдруг сел в

постели и с жаром счастливого любовника возглашал Бог весть в который раз: «Вот и весь с нас спрос. Что мы еще можем сделать — разве мяса нашего дать на съедение — да и то оно несъедобно».

Ранным утром, едва рассвело, он появился в милиции с лопатой на плече и ясным лицом — но, к сожалению, не застал на месте лейтенанта, без которого, разумеется, никто не мог решить этот вопрос. — «Только что ушел», — сказал ему дежурный милиционер. Но если бы даже лейтенант ушел гораздо раньше, Кола-полоумный конечно обязан был его догнать — приняв решение, следовало довести дело до конца, откладывая его никак не годилось, ведь касалось оно похорон мертвеца, и не только каждый день, но и каждый час имел огромное значение. — «Куда он пошел?» — спросил Кола-полоумный дежурного; хотя, куда бы ни ушел лейтенант, он все равно собирался пуститься в погоню. — «Домой», — ответил дежурный. Потом посмотрел внимательно в лицо посетителю и добавил: — «Если у тебя не горит, то может дашь ему выспаться, он всю ночь глаз не смыкал». — «Вот именно, что горит», — почему-то усмехнулся Кола-полоумный. Нисколько не остановило его предупреждение дежурного, напротив, он даже обрадовался, что не придется разыскивать лейтенанта по всему городу, что тот у себя дома, тут же рядом, пятью-шестью домами дальше по улице. Живому человеку заснуть получасом раньше, получасом позже — невелика разница, худо ему не будет, а вот мертвого оставить без присмотра нельзя ни на одну лишнюю минуту. Кроме того, Кола-полоумный не сомневался, что лейтенант одобрит его намерение и, каким бы ни был усталым после бессонной ночи, скорее похвалит его, скажет: «Правильный ты человек, сердце у тебя на месте», нежели побранит: «Что ты ко мне в дом врываешься, дай время поспать, мертвый ведь не убежит!» Нет, если уж упрекнет его лейтенант, так за то, что уже вчера не объявил милиции свое решение — вот и пришлось этому сироте-мертвецу первую же ночь после смерти провести одному в заведенном подвале. А это, по мнению Колы-полоумного был большой грех, — не только на нем, а на всех живых вообще. Так думал Кола-полоумный оттого, что знал побольше, чем другие, о мертвецах, оттого, что из-за

мертвеца была у него отравлена вся жизнь ^{прежде} всего именно по причине проявленных к нему, мертвецу, пусть даже невольно, невнимания и равнодушия ^{кем} бы ни оказался тот, кого убили у старой церкви, он был прежде всего человеком и уже по этой одной причине заслуживал прежде всего человеческого погребения. Таковыми мыслями был поглощен Кола-полоумный по пути к дому лейтенанта, и поэтому ни ранний час, ни неловкость нежданного посещения не смущали его — он несколько не боялся поднять с постели только что уснувшего человека. Но по счастью лейтенант оказался не в постели, а во дворе и, главное, вовсе не производил впечатление невыспавшегося и усталого человека. Голый по пояс, он рубил дрова за лестницей, в укромном месте. Вдоль стены аккуратным штабелем громоздились нарубленные дрова, рукава брошенной на них гимнастерки развевались на ветру. Двор был весь усыпан свежими белыми щепками.

Оба непритворно удивились, увидев друг друга: Кола-полоумный ожидал найти лейтенанта в постели, а лейтенанту и в голову не приходило, что за такое спешное, неотложное дело привело к нему Колу-полоумного в столь ранний час.

— Здравствуй, Кола, куда ты собрался? — первым, почему-то волнуясь, поздоровался он и, опершись на рукоятку топора, уставился на гостя, который с лопатой на плече, с бодро вскинутой головой и смешно растрепанными ветром волосами направлялся к нему быстрым шагом.

— К тебе я пришел, Роланд, здравствуй! Пришел, потому что знаю твое доброе сердце, — сказал, остановившись поодаль, Кола-полоумный.

— Добро пожаловать... Коли так... Войдем в дом, — еще больше взволновался лейтенант и потянулся за валявшейся на дровах гимнастеркой.

— Да нет, что ты, не надо в дом, я тут тебе все скажу, — усмехнулся Кола-полоумный — дескать, не хочу причинять тебе столько беспокойства из-за пустяшной просьбы.

— Изволь, Кола, говори, — охотно согласился лейтенант; он не ожидал, что его так удивит и всполошит появление Колы-полоумного.

Лейтенанту было неприятно видеть его сейчас у

себя во дворе — чувство это, слепое, безотчетное, ни на чем не основывалось — просто лейтенант сразу почему-то вспомнил события вчерашнего дня и заранее испугался, что его опять станут о них расспрашивать. Да к тому же после минувшего дня и минувшей ночи он, собственно, ни на что больше не годился, — принять ли гостя, дать ли совет, оказать ли помощь в нужде было сейчас свыше его сил; нервы у него были напряжены до предела, и он попросту боялся потерять равновесие, выйти из себя и грубо выпроводить незваного гостя, или, еще хуже, дать вовлечь себя в нескончаемые разговоры. Однако не было исключено, что Кола-полоумный знал что-нибудь интересное сейчас для лейтенанта, скажем, что-нибудь, связанное со вчерашним днем, может быть даже — кто был убитый у старой церкви человек. Так что, хотя лейтенант сам и удивлялся своему волнению, однако по сути возбуждение его вовсе не было удивительно: поводов для того, чтобы взбудоражить человека, имелось более чем достаточно.

— Я, видишь ли, Роланд, по поводу вчерашних дел... — начал Кола-полоумный и запнулся, осекся, не сумел закончить; со вчерашнего дня он сотни раз повторял в уме то, что собирался сказать лейтенанту, сотни раз строил то так, то этак свою просьбу, и ему уже стало казаться, что его поймут без долгих объяснений, что с первого же слова станет ясно, какое благочестивое дело он задумал. И вот он стоял, оцепенев, с примерзшей к губам улыбкой, и не знал, с чего начать, чем кончить.

— Да, нехорошо вчера получилось, ты прав, — попытался помочь ему лейтенант, у которого еще сильнее забилося сердце. Он прислонил топор к ноге, стащил за развевающийся рукав с поленницы гимнастерку и быстро натянул ее.

— Ничего не поделаешь, что было, то было, — сказал Кола-полоумный задумчиво. — И похуже вещи случаются на нашей благословенной земле, — добавил он через минуту; словно он только и пришел, чтобы выразить соболезнование.

Такая мысль мелькнула на мгновение у лейтенанта, но тут он вспомнил, что этого чудака с всклокоченными волосами и бородой, с рубахой, вздутой пузырем на спине и с лопатой через плечо весь город считал

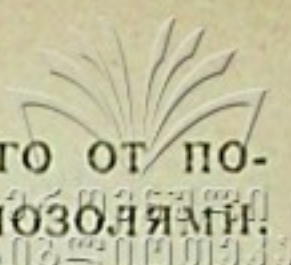
полоумным. Разумеется, и сумасшедший мог быть знакомым с убитым разбойником, но тем не менее лейтенанту не следовало ни на минуту забывать о его безумии. Какое-то новое чувство, сходное с разочарованием, овладело им вдруг, и он впервые посмотрел на гостя со спокойным, безразличным любопытством.

А гость был похож на вечного странника, остановившегося на мгновение, чтобы о чем-то справиться или что-то попросить — странника, который сам не помнит, откуда идет и куда направляется, которому уже все равно, где он окажется завтра или даже всего через час, и если он все же не бросает этих своих бессмысленных и бесцельных скитаний, то лишь потому, что уже не может жить иначе: каждое утро, как только рассветет, он без сожаления покидает свое ночное убежище — сырую канаву или колючие кусты, гнилой стог или загаженные развалины — и, всклокоченный, с лопатой, перекинутой через плечо, бормоча про себя что-то невнятное, пускается, словно Бог, изгнанный из рая, в путь и шагает, шагает, пока в силах шагать, пока еще раз не настигнет его ночь в пути.

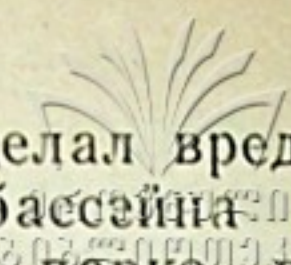
А полоумным эго считают оттого, что он непрестанно разыскивает отцовскую могилу. Такая у него навязчивая мысль засела в голове — что если не найдет ее, то всем поголовно не знать спасения души. Чуть ли не всю Кахети успел он перекопать, но все было напрасно, нигде он не обнаружил отцовского гроба. Люди говорят, что скрыла от него покойника жена. Будто бы приревновала жена к мертвому свекру — дескать, о мертвеце больше думает, чем обо мне — и уничтожила останки вместе с гробом без следа. Сперва всячески мешала мужу ходить на могилу к отцу — оставь, мол, мертвого в покое, о нас, живых позаботься, ежели годишься на что-нибудь. По правде говоря, ничего нового и непривычного, такого, чего бы не могли сказать другие жены своим мужьям, она и не говорила — и Колаполоумный поневоле стал оказывать меньше внимания покойному отцу: однажды действительно не пошел на кладбище, в другой раз забыл свечку ему поставить, а в третий — явился без поминального приношения, подумал, поймет отец родной, не рассердится на него; но вот, однажды ночью явился, стал над его изголовьем сам покойник и говорит: «Совсем ты забросил меня!

Хоть могилу мне перемени, нет больше моего терпения, весь в воде лежу!» Кола-полоумный, ошеломленный, перепуганный, сел в постели и разбудил жену: «Вставай, бери коптилку, пойдём на кладбище, я должен отца вырыть из могилы». Вот тут-то в первый раз и испугалась жена, уж не тронулся ли он в уме — до этого он был обыкновенный человек, без всяких странностей, смиренный, покладистый, послушный, работающий, и, разумеется, никто никогда и не называл его полоумным. Более того, он даже был неплохим рисовальщиком — поставят, бывало, его у стены, завяжут глаза, сунут в руку мел или кусок угля, и он изобразит на стене то пасхального ягненка, то русалку с изогнутым хвостом, а то пару целующихся — клюв в клюв — голубей (притом отметит знаком плюс голубя, а знаком минус голубку). Так вот, не сумев никак успокоить испуганного ночной грезой мужа, жена подумала: «Пойду-ка я с ним на могилу, авось, пока доберемся, уляжется его волнение, — как же иначе, от свежего воздуха он тотчас придет в себя». Ну и отправились они на кладбище — жена с ночником в руке, муж — с лопатой (с тех пор он так никогда и не выпускал лопату из рук). Жена рассказывает, что от страха душа у нее ушла в пятки. В самом деле — каково среди ночи бродить по кладбищу, да еще с таким спутником, как Кола-полоумный! Над иными могилами, оказывается, горели костры, и мертвецы, выйдя из-под земли, грели у огня руки, но, заслышав шаги пришельцев, сердито оглядывались на них и вместе со своими кострами снова уходили в могилы. — «Точно крысы, головой вперед прыгали прямо в черную пасть разверстой земли», — рассказывает жена Колы-полоумного. Словом, пока добрались до нужной могилы, она сама трижды отдала Богу душу. Да, да, она сама была уже мертва, только не погребена, не хватало единственно ее похоронить (немногого же ей не хватало! Похороны-то и есть самое трудное, а умереть — это сущие пустяки, люди пачками мрут без всякого труда!). Кола-полоумный стал раскапывать могилу отца — рыл и плакал: «Иду, иду к тебе, отец, я здесь, не бойся!» Жена светила ему ночником и, разумеется, тоже плакала: «Что ты творишь, несуразный человек, опомнись, слыханное ли дело, нарушать покой мертвеца!» — «Но и забыть да забросить мертвеца

тоже дело неслыханное!» — свирепо огрызался на нее из ямы Кола-полоумный, упершись в лопату. Над ними сияла луна, звезды смотрели на них со своей неизменной, непостижимой, непорочной высоты. А мир вокруг спал, никому не было дела до них. Наконец раскопали могилу, и что же — гроб в самом деле наполовину стоял в воде. — «Вот, посмотри своими глазами, убедись!» — крикнул Кола-полоумный жене из глубины отцовской могилы. Но и к новой могиле не смог привыкнуть покойник, снова явился во сне к сыну с жалобой: «Жена, дом, семья, все это хорошо, но и за мной надо присматривать — хоть изредка; солнце ко мне никак не пробьется, оледенел я весь, в ледяную глыбу превратился». И Кола-полоумный опять поднял с постели, не обращая внимания на ее брюзжание, жену, схватил снова лопату и еще раз переместил в новую могилу строптивные останки своего родителя. Но не прошло и месяца после этого, как мертвый отец снова посетил своего сына и стал его горько упрекать: «Разве можно так подчиняться жене? Чем я перед вами провинился, за что вы меня обрекли на такие мучения?» — «Какие еще мучения, что за мучения?» — перепугался Кола-полоумный. — «А то, что ты по указке своей жены опустил мой гроб прямо в зменное гнездо, и ползучие гады едят меня поедом». Бедняга Кола-полоумный взвыл со сна, да так истошно (хорошо, что Нико тогда еще был в Батуми), что весь Сигнахи высыпал на улицу. Именно тогда, в ту ночь и прозвали его полоумным, хотя не только жена, но и многие другие (на этот раз пошли с ним на кладбище и ближние, и дальние соседи) подтвердили, что гроб отца Колы-полоумного в самом деле был весь облеплен змеями. Даже и половины их не удалось перебить. Взъерошенные (но разве есть на змеях шерсть или щетина?), с оскаленными зубами, злобно шипя, выскакивали они из могилы. А потом началась война и Колу-полоумного призвали в армию. — «Там тебе быстро мозги вправят!» — кричала ему вслед жена. Но с войны он вернулся совсем свихнувшимся: «Пропал мой отец, исчез, потерял я 'отца», — причитал он в голос, как плакальщица на похоронах. И в самом деле — разрыли могилу и ничего не нашли в ней, ни золы, ни пепла. С тех пор так и разгуливает Кола-полоумный с лопатой на плече — верный сын,



вечный, неутомимый могильщик. Ладони у него от постоянной работы с лопатой сплошь покрылись мозолями. — «Если не найду отца, все в ад пойдем, всему свету выйдет погибель», — жалуется он, обуреваемый мрачными мыслями, потрясенный до глубины души. А сигнахские болтуны и празднословы, всякий раз, как завидят его, непременно спросят: «Ну как, нашел или нет?» Вышучивают его, насмеваются, потешаются над ним: «Как хочешь, а найди непременно, не идти же нам всем вместе в ад из-за тебя!» — подзуживают, будто бы корят его. А он принимает всерьез, переживает, волнуется, страдает, совестится перед людьми — в самом деле, почему все должны понести кару из-за его небрежения? — и извиняется перед согражданами, успокаивает их, как может, дает им обещание исполнить свой долг и даже (конечно с добрыми намерениями), представьте себе, обманывает — будьте, мол, спокойны, сквозь всю землю пройду, а найду отцовский гроб, ведь отец он мне, да и не булавка же в конце концов! Попадает на удочку, дает шутникам повод пошутить — вот они его и вышучивают. Ходит он зимой и летом с непокрытой головой, в расстегнутой рубахе. Пока он крепок, как камень, но уже грудь и живот у него затянула седина, незаметно, несмело, но старость как бы всползала на него. — «Ах, бедная моя головушка», — приговаривает он иногда и ударяет себя кулаком по виску; даже если не знаете его, скажете, — как есть сумасшедший. Он одновременно и жалок, как нищий-побирушка, и опасен, как разбойник. Безумие придает ему силы — он всегда возбужден, мечется беспокойно. И однако, если приглядеться к нему повнимательней, то заметишь в глубине, на самом дне его тревожно-мутных глаз и иной оттенок — усталости, сломленности, печали, разочарования, страха, отчаяния. Сам он говорит, что вовсе он не сумасшедший, что он просто боится ада, что Бог не простит ему потерю отцовских останков, — а уж если человеку не дано будет отдохнуть хоть в смерти, то как он сможет такое выдержать, и до каких пор? К родным Нико он очень любит приходить в гости. — «Там меня радушно принимают», — говорит он с гордостью. И однако, стоит ему прийти, как тетя сразу убегает из дома, хоть и не отдает себе отчета, что ее гонит прочь — страх или жалость: ведь



Кола-полоумный никогда никому еще не сделал вреда (впрочем, однажды он и Нико отогнал от бассейна в парке — он работает сторожем в городском парке по совместительству — но это не парк и не бассейн он оберегает от ребятишек, а их самих, боится, как бы не попали в беду). Придет, пододвинет стул к перилам балкона, усядется, опершись локтем о перила, и сидит так, устремив неподвижный взгляд куда-то в глубину двора. Сидит и думает о чем-то своем — потом встанет, поблагодарит хозяев за «радушный прием», вскинет свою сверкающую лопату на плечо и уйдет, пропадет надолго. Останется от него на балконе запах юта и иссохшей земли. Вот и все его гостеванье. В последний раз явился ему отец во сне где-то на Украине или в Белоруссии, когда он прикорнул в глубине окопа — явился и сказал: «Ты тут воюешь, а я заброшен, мочи моей больше нет; с тех пор, как ты на войне, мне чаши никто не налил, стакан у меня вечно пустой; даже свечки никто не затеплил на помин моей души; что мне кусок пополам с попреком, лучше уж стать здесь слугой кому-нибудь — но и вас до добра не доведет то что вы забыли меня, посмотрим, сумеете ли жизнь без меня наладить». Кола-полоумный тотчас же собрался домой, даже командиру своему доложил — дескать, вот так и так обстоят мои дела, и надо меня отпустить, а то потом поздно будет; но кто б его отпустил с фронта в разгар войны? — «Нельзя! Скажут, что ты с ума спятил», — объяснил ему командир. — «Да меня и так полоумным называют», — усмехнулся горько Кола-полоумный. — «Все равно нельзя! Сиди на месте и не рыпайся, не то такое на себя накличешь, что сумасшедший дом желанным покажется!» — рассердился командир. С того дня до самого конца войны Кола-полоумный не знал сна, не смыкал, оказывается, глаз; но не столько боялся он трибунала, сколько еще одного посещения отца: что сказать, как в лицо ему взглянуть, да и разве скажешь покойнику — нынче такое время, что до тебя никому дела нет, раз все терпят, потерпи и ты, как-нибудь перемогнись без воды, без пищи и без света. А когда вернулся с войны, чуть не сжил со света жену: «Что у тебя за каменное сердце, как ты допустила, чтобы покойник сбежал от нас, ну разве ты

человек после этого?» И с тех пор, вот так, закинув лопату на плечо, ходит, ищет своего мертвого отца...

Лейтенант поспешно застегивал пуговицы своей гимнастерки. Минуту тому назад, пока он рубил дрова, ему было жарко, а теперь его насквозь прохватило холодом. Он опустил на одно колено и стал собирать нарубленные дрова, чтобы показать Коле-полоумному, что он не просто без цели прохлаждался с утра во дворе, и что если у Коля-полоумного есть к нему дело, то пусть он не тянет, а выкладывает, какая у него нужда. Но лейтенанту не хватило терпения, он сбросил подобранную было охапку дров на землю, встал и спросил напрямик:

— В чем дело, Кола, какие у тебя затруднения?

— Роланд, ты человек здешний, наш, не откажи мне...! — разволновался вдруг Кола-полоумный.

— Да ты сперва скажи, что тебе нужно, — улыбнулся ему вымученной улыбкой лейтенант.

— Отдай мне покойника, — выпалил Кола-полоумный. — Похороню его, обряжу, все сделаю, как положено. Получит от меня все, чего я не додал родному отцу. Я буду не я, если не устрою ему образцовое погребение. Может еще придете и полюбуетесь, останетесь довольны... — закончил он торопливо, со счастливой улыбкой на лице.

Лейтенант свободно вздохнул, опасения его рассеялись. Возбуждение его улеглось, он успокоился. Но в следующую минуту он, сам того не ожидая, снова вдруг ощутил раздражение — наверно, оттого, что предположение его оказалось ошибочным — и, пожалуй, резче, чем следовало, даже чуть повысив голос, ответил полупомешанному просителю:

— Ну простительно ли такое — человеку твоих лет! — и добавил, совсем уже выйдя из себя: — А еще в армии служил.

— Да что я сказал такого, добрый человек? — растерялся перепуганный Кола-полоумный и зачем-то передвинул лопату у себя на плече — словно она лежала неудобно и надо было ее поправить. И при этом быстрым взглядом насторожившегося зверя окинул двор — словно это не его слова, а чье-то неожиданное появление раздражило лейтенанта и он, Кола-полоумный, пытался обнаружить этого неизвестного пришельца.

— Словом, не смей и думать об этом! — отрезал строго лейтенант. — Никак нельзя, — добавил он через минуту несколько мягче, примирительным тоном. — Это ведь не в нашей власти... Такие дела решает государство, — пояснил он, чтобы по возможности умерить огорчение Кола-полоумного и, главное, чтобы тот не обиделся на него, лейтенанта. — Заходи в дом, выпьем по рюмке... по утренней, — добавил он с непритворным радушием, которое, однако, снова неожиданно сменилось раздражением, потому что перед глазами его встало измученное лицо беременной жены, а в ушах прозвучал ее болезненно-слабый голос: «Ну, куда мне, Роланд, возиться спозаранок с гостями, мне самой уход нужен...»

Но Кола-полоумный не расслышал приглашения лейтенанта — он стоял, задрав голову, смотрел на небо и даже на ветер не обращал никакого внимания. А ветер, то трепал ему волосы, то хватался за лопату у него на плече — задира́л его, заигрывал с ним, как расшалившийся ребенок. А он стоял, ошеломленный, сцепенелый, и всматривался в небеса, словно надеялся получить оттуда объяснение всего происходящего — и действительно, где еще, если не в небесах, мог он дознаться, почему любое благое, богоугодное дело встречается здесь, на земле, столько непреодолимых препятствий.

— Что это ты сказал, Роланд, — выговорил он наконец. — В ад все пойдем, души наши загубим, и по делом нам будет, ей-Богу. — Он с силой ударил себя в висок кулаком. — Кто погребен — того уберечь не можем, а кто ждет похорон — того земле не предаем, — пробормотал он вполголоса про себя, внезапно пав духом, сложив оружие.

Он покинул двор лейтенанта даже не попрощавшись с ним, не потому, что рассердился на него, а потому что просто забыл о нем, потому что лейтенант был ему больше не нужен, напротив, стал даже лишним, и не просто лишним, а теперь уже помехой, препятствием, так как беседа с лейтенантом вовсе не заставила его отказаться от своего замысла, а только принудила его изменить план, составленный наспех, на площади, среди гама и гомона толпы. Теперь решение его было еще более твердо, он не собирался отступать ни на шаг, и

если благой, Божеский замысел его не удавалось осуществить в согласии с правилами и законами, то он готов был претворить его в жизнь пусть даже нарушив порядки, противозаконным путем. Весь тот день он ни о чем другом не мог думать, но ведь мало — принять решение, главное было — насколько оно соответствует его возможностям, то есть, иначе говоря, сумел ли бы он один, без чужой помощи или, вернее, даже несмотря на всеобщее сопротивление, претворить его в жизнь. Выкрасть из милиции не то что труп, но даже простую скрепку для бумаг представлялось невообразимо трудным делом даже для испытанного, отчаянно смелого вора, но никакого иного пути не существовало; он не мог превратиться в птичку, чтобы слететь через зарешеченное окно в милицейский подвал, и не имел времени прорыть туда подземный ход, потому что как бы он ни был искусен в этой работе, все равно до завершения ее труп успели бы десять раз переслать в Тбилиси. Словом, от таких совершенно непривычных и лихорадочно волнующих мыслей у него раскалывалась голова. Он даже повязал голову косынкой своей жены, но не почувствовал облегчения. Жена со своей стороны как могла успокаивала его, возвращала на землю, но все было тщетно, отрезвление не наступало, для него уже не существовало ничего, кроме запертого в милицейском подвале трупа и его безумного решения любой ценой завладеть этим трупом и похоронить его не как-нибудь, а как полагается, «по-человечески», во что бы это ему ни стало.

Так, в необоримом, непрестанном волнении и терзаниях прошел день. Но ночью ему стало еще тяжелей. Правда, он лег в постель, но лишь в силу привычки, для порядка, подобно тому, как курица устраивается в курятнике с наступлением темноты. Заснуть он даже и не пытался, и если закрывал глаза, так только для того, чтобы лучше думать. «Нет у меня иного пути», — то и дело жаловался он жене, словно, если бы жена одобрила его замысел и поддержала его, стала с ним плечом к плечу; то не только мягче был бы расцenen задуманный им противозаконный поступок, но и легче стало бы его совершить. Но жене опротивел даже его голос, ей нужно было только одно — чтобы он оставил ее в покое. И Кола-полоумный метался, вертелся в разбросанной

постели, которая казалась ему сейчас жесткой, грубой, неласковой и проклинал свою судьбу;

Было уже далеко за полночь, когда Кола-полоумный вдруг вскочил, как ужаленный, с постели уснувший на часах солдат — и вскричал с жаром: «Если на то Божья воля, то ничто не встанет у меня на пути!» Жене его, видимо, удалось все же наконец заснуть, и на этот раз голос мужа донесся до нее лишь как пустой, неосмысленный звук, лишенный значения, подобный любому другому ночному звуку. Она причмокнула сквозь сон губами и медленно, со стоном и вздохами, перевернулась на другой бок. А Кола-полоумный уже шагал по направлению к милиции со своей лопатой на плече, весь всклокоченный и растрепанный. По пустынным улицам разгуливал лишь ветер. Город давно уже спал — весь, со всеми своими больными, детьми и стариками.

Вдруг за спиной у Колы-полоумного раздался взрыв хохота, и он испуганно обернулся. А ветер улучил минуту, воспользовался тем, что он неловко изогнулся и скинул лопату с его плеча. Ударившись о мостовую, лопата издала неприятный звон, от нее посыпались искры. Кола-полоумный выругался и снова вскинул лопату на плечо. Улица была пуста, лишь деревья по ее краям безмолвно, как глухонемые, хлестали друг друга голыми, вытянутыми ветвями. Но стоило Коле-полоумному тронуться дальше в путь, как за спиной у него снова кто-то громко расхохотался и крикнул ему: «Куда ты пробираешься, вот уж вправду полоумный!» Вскоре этому невесть чьему голосу стали вторить другие голоса, и уже казалось весь город кричал вслед Коле-полоумному: «Держите его, не пускайте, он помешанный!» И Кола-полоумный невольно ускорял шаг, словно за ним в самом деле гнался кто-то, и добежал до милиции, задыхаясь, с колотящимся сердцем, ни разу не приостановившись, даже не задумавшись — как быть дальше, как пробраться в подвал незамеченным — и в конце концов не вошел, а ворвался в милицию, как врывается преследуемый зверь в свою берлогу, впрочем, сразу выяснилось, что ему нечего и было опасаться или колебаться: дежурный милиционер (то ли Грдзело, то ли Несва, то ли Араминдара, если не все тот же Георгий Упарашвили) спал за своим столом, уронив голову и

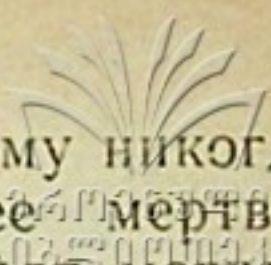
зарывшись лицом в руки. Возле его головы стоял телефон, безмолвный и угрюмый как скала, и на первый взгляд трудно было поверить, что этот молчаливый аппарат мог звенеть, как колокольчик и разговаривать как человек.

Кола-полоумный подождал немного, глядя на дежурного — проснется он, или нет — а потом направился к входу в подвал, со смело поднятой головой прошеествовал по довольно длинному коридору и безошибочно остановился перед нужной дверью — так, словно ему самое меньшее хоть раз в неделю приходилось туда спускаться. На двери висел огромный замок, который однако открылся сам собой и, не подхвати его Кола-полоумный в воздухе, упал бы на пол. Кола-полоумный бережно положил замок, тут же под стеной и толкнул дверь, которая открылась со скрипом. Любого заставил бы вздрогнуть этот неожиданный, резкий и неприятный звук — таинственно-значительный среди ночной тишины, — но Кола-полоумный и бровью не повел; не задумываясь, наугад, полагаясь лишь на свой инстинкт, он стал спускаться по кирпичной лестнице. Лопата на его плече то и дело цеплялась за невидимые в темноте стены. В подвале, разумеется, было темно, но кое-что все же можно было различить — тусклый неверный свет проникал сверху, с улицы, так что Кола-полоумный без труда отыскал труп, покрытый брезентом. Прежде всего он высвободил руку, которой придерживал лопату, потом снял брезент с трупа, расстелил его на полу и перенес на него мертвое тело. Двигался и работал он так осторожно, словно боялся разбудить мертвеца. Плотнo закатав в брезент труп, он вскинул сверток на плечо вместе с лопатой и поднялся по лестнице в коридор. Дверь подвала снова громко и неприятно заскрипела, но Кола-полоумный и на этот раз не обратил на нее внимания, так как теперь он был еще более глубоко уверен, что явился исполнителем Божьей воли и ничто не может воспрепятствовать ему. Действительно, дежурный милиционер не подавал признаков жизни — безмятежно спал за столом, положив голову на руки. А Кола-полоумный был уже на улице и быстро, с радостным и гордым видом шагал по направлению к кладбищу вместе со своей ношей. Какие-то голоса опять что-то кричали ему вслед, всячески поносили и ругали



его, проклинали, насмехались над ним, угрожали ему — но он даже не оглядывался, не удостоивал их вниманием и бесстрашно продолжал свой путь. Ничто не беспокоило, не беспокоило его, кроме ветра. Один лишь ветер досаждал ему. То он набрасывался спереди, так что у Кола-полоумного искры сыпались из глаз, то вырывал у него ношу, теребил ее, стаскивал с его плеча, словно не хотел отдать ему, силился отнять покойника — и Кола-полоумный в бешенстве вертелся на месте, как волчок, чтобы как-нибудь избавиться от этой напасти, стряхнуть с себя стаю наглых обезьян и свору голодных собак.

Так, измучившись вконец, он выбрался из города; но за городом ветер разошелся еще больше, дал себе полную волю, и отвязаться от него стало совсем невозможно: он не давал Коле-полоумному вздохнуть, толкал его в спину со свистом и с хохотом — и Кола-полоумный трусил, скатывался по спуску, изо всех сил придерживая ношу на своем плече! — «Чтоб' тебя разразило!» — сердился, бесился Кола-полоумный, обливался потом, задыхался, чувствовал, что сердце вот-вот выскочит у него из груди, и бежал наудачу, куда несло его ветром, подчиняясь его грубой силе. Одно только заботило его — как бы не выронить мертвое тело. Кладбище он миновал, ни на мгновение не сбавив хода — а впрочем, и не смог бы замедлить свой бег, даже если бы хотел. Ветер гнал его вперед и в то же время оглашал яростным воем все кладбище и каждую могилу в отдельности. А мертвецы — как знать! — лежали наверно в могилах, притаясь, и ждали, ждали с нетерпением, когда же устанет, стихнет ветер, пройдет ненастье и им представится снова возможность выйти из могил и разжечь костры. Но ветер вовсе не собирался униматься, он неистово кидался на чугунные ограды, тряс каменные кресты, пригибал к самой земле верхушки обезумевших кипарисов, и кипарисы тщетно пытались оторваться корнями от земли, освободиться из вечного земляного плена. Тщетно. Тщетно. Тщетно. А Кола-полоумный знал наперед, с самого начала, где он должен похоронить своего покойника, и теперь изо всех сил старался свернуть в ту сторону, освободиться (вместе со своей ношей) от хватки распоясавшегося ветра. Место он выбрал уже давно — пониже кладбища, на склоне го-

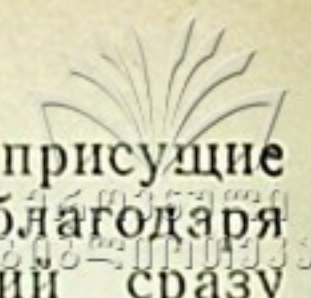


ры, над самым краем лощины, там, где никому никогда не могло прийти в голову искать пропавшее мертвое тело; место это он первоначально наметил для могилы своего отца, готовил там отцу вечную обитель, но останки отца ему еще предстояло найти, да и найдет ли он их — было еще под вопросом.

Кола-полоумный опустил с плеч обернутый брезентом труп, и лишь тогда почувствовал, как сильно он устал — и однако для отдыха у него не было времени: он тотчас же схватился за лопату и принялся рыть могилу.

Ветер и здесь был достаточно силен. С таким остервенением накидывался он временами на занятого своей работой Кола-полоумного, что тому приходилось поспешно присаживаться на корточки и хвататься за рукоять всаженной в землю лопаты — иначе его могло сбросить в овраг. Но ветер рано или поздно должен был стихнуть, уняться, и мир тогда обрел бы снова свой обычный вид. Очень красивы были здешние места в хорошую погоду, днем. Сколько раз приходил сюда Кола-полоумный и, прилегли возле воображаемой могилы, мечтал о том грядущем счастливом дне, когда он наконец отыщет гроб разгневанного родителя и теперь уже навсегда предаст его земле на этом прекрасном горном склоне. С этого места не было видно обрывистого края лощины и впечатление создавалось такое — в особенности летом, когда все вокруг утопало в густой зелени, — что вы стоите на самой дальней оконечности полуострова, и если ступите еще шаг вперед, то воспарите в пронизанном солнцем беспредельном пространстве.

Но сейчас едва можно было разглядеть палец, поднесенный к глазам. Ветер бросал землю в лицо Кола-полоумному и вырывал у него из рук лопату. Никогда еще ему не было так трудно рыть могилу. Дело это было не просто привычно ему, а, можно сказать, вошло в плоть и кровь, но в этой кромешной тьме и под таким бешеным ветром все это его усердие представлялось, право же какой-то бессмыслицей. Лопата то и дело срывалась — настолько отвердела оледенелая земля. А он, несмотря ни на что, упрямо сражался и с землей и с мраком. Он стоял внутри площадки, очерченной в уме, и всячески старался не скривить, не исказить гра-



ничную же линию, потому что у могилы есть присущие ей и отличные от любой иной ямы очертания, благодаря которым при первом же взгляде на нее всякий сразу догадается, что это не обычная яма. И Кола-полоумный рыл именно могилу, а не просто яму, что, несмотря на кажущуюся простоту, было далеко не простым делом в этой непроглядной темноте. Пот стекал с него ручьями, руки отваливались с натуги, рукоять лопаты тыкалась то и дело в стенки ямы, обдирая ему кожу на ладонях. — «Да ты хоть знаешь ли, для кого роешь могилу так усердно, не щадя себя?» — кричали ему сверху голоса, а он уже стоял по пояс в могиле, задыхаясь, как доктор, что лечил Нико, и упрямо копал, вгрызался в землю, никого не слушая, потому что он один знал, для кого рыл могилу.

И знал он также, что совершает благое дело — уступает отцовскую могилу безвестному, никем не оплаканному покойнику, чтобы тот не остался без погребения — и улыбался, довольный собой. Так, с довольной улыбкой, копал он землю, и порой бросал взгляд в сторону завернутого в брезент трупа, твердо уверенный, что тот тоже им доволен. Таким образом, несмотря на ветер и мрак, сердцем и разумом Колы-полоумного владели светлые, добрые чувства, а потому еще необходимее и еще отраднее оказывалось то, что он делал — это неистовое рытье окаменелой земли в темноте (наугад), ободранными руками... Ледяной ветер то и дело острым лезвием полосовал его по потной спине, а ему представлялось, что пригревает солнце, вокруг жужжат пчелы, и бабочки порхают у него над головой. Всего же лучше было то, что погребаемый (чутье подсказывало это Коле-полоумному) был глубоко благодарен тому, кто хоронил его, а хоронивший был так же глубоко благодарен судьбе за то, что она именно ему поручила это благородное дело. Он не просто знал, а ощущал всем своим существом, что совершает добро, что поступок его — необходимый, обязательный, предписываемый долгом шаг по пути к высшей человечности, и, разумеется, его переполняло гордостью то, что покойник испытывал к нему благодарность. Эти непривычные ощущения и переживания вольно или невольно, но обязывали его вновь повернуться лицом к жизни, — ведь похоронить мертвого уже значило служить ей, так

как требовало труда в поте лица, усталости, принуждало его ощутить и осознать собственное тело, ощутить и осознать также, что он мог преодолеть, на сколько хватало его сил, на что вообще он был способен. Кроме того, раз он рыл могилу для мертвого, то ведь этот мертвый освобождал для кого-то место на земле, и если этот «кто-то» ничего лучшего не сумел бы достичь в жизни, то в крайнем случае мог всегда занять пустое пространство, оставленное мертвецом. Рыть могилу, правда, было Коле-полоумному трудно, руки ослабели, на ладонях вздулись пузыри, но он все же был полон бодрости и охоты. Он даже удивлялся — почему ему так хорошо, уж не умирает ли он — потому что всего часа два назад у него голова раскалывалась на части, и он не думал, что сможет попросту стоять на ногах. А сейчас он был полон невыразимой легкости и отрады, ему нравилось, он гордился, что стоит в вырытой его собственными руками могиле. Чтобы проверить, насколько правильно она выкопана, он раза два даже улегся в ней, скрестив руки на груди, и хотя ветер заваливал его сверху землей, лежать, так ему было приятно — словно не холодная, рыхлая земля сыпалась на него, а солнце било ему в глаза, пятна света, как дерзкие, неотвязные щенята ползали по нему, лизали его лицо, играли с ним — и это вечное обиталище человека было напоено их крепким запахом. А сверх того яркие, пестрокрылые бабочки порхали в нем вперемешку с сухими листьями. Все, казалось, стремились сюда, всех притягивала эта могила, потому что была вырыта бескорыстной рукой, вырыта для того, кому она была нужнее всего и, главное, тем, для кого рытье могилы было оправданием существования, а не средством к существованию. Вот почему все зарились на эту могилу, каждый хотел ее для себя, и все спорили между собой — кому в нее лечь. Чуть ли не весь Сигнахи втиснулся в это небольшое углубление — и в самом деле, разве только один человек умещается в могиле? Сколько любви и ненависти, сколько разнообразных пройденных дорог, обжитых городов и деревень, сколько голосов и лиц уходят в землю с «одним человеком» — ибо один человек никогда не бывает «один» — вернее будет сказать, что он есть единая сумма бесчисленных составляющих и слагаемых. Так что и Коле-полоумному предстояло

навсегда остаться в этой могиле, поскольку и он занимал определенное, хотя и незначительное место в памяти погребяемого; в конце концов, он оказался единственным близким умершему, единственным оплакивающим умершего человеком, именно ему выпало на долю проститься напоследок (и навеки) с этой очередной жертвой жестокости жизни или человеческого равнодушия — и кем бы ни оказался умерший, заверить его, что он сам, Кола-полоумный, ни в малейшей степени не причастен к этой жестокости и к этому равнодушию и сверх того — ободрить покойного, чтобы он не боялся, вразумить его — как когда себя вести, сказать ему в утешение, что все мы смертны, все там будем. Вот какая тяжкая, трудная, но почетная обязанность была возложена на Колу-полоумного и, если говорить по справедливости, он пока что прекрасно для помешанного исполнял свой долг.

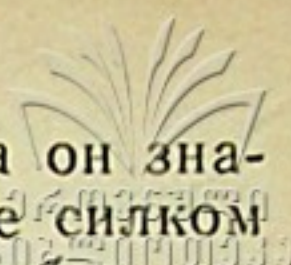
Всю ночь он работал с неослабевающей охотой, но когда стало светать, он с ужасом взглянул на дело своих рук. Вместо аккуратной могилы он вырыл безобразную яму с обрывистыми краями. Правда, могила была глубока, но в темноте ему не удалось ровно обрезать намеченные в уме ее края, они получились кривыми и извилистыми. Зато могила надежно защищала от ветра — он мог лишь, налетев сверху, засыпать внутрь землю. Но это можно было терпеть сколь угодно долго. К земле, сыплющейся на голову, Кола-полоумный привык еще на войне, в окопах, и сейчас он, как некогда в траншее, безропотно валялся, притулившись в углу могилы. Он был обессилен, глаза у него смыкались. Правда, могилу надо было доделать, поправить — но это не требовало больших забот. Все самое главное осталось уже позади, и спешки больше не требовалось, он заслужил минуту-другую отдыха, единственно только, ни в коем случае нельзя было сейчас уснуть, иначе вполне возможно, кто-нибудь мог бы застать его здесь, в могиле, и все его тяжкие труды пропали бы впустую. Не говоря уже о насмешках — сигнальские шутники и болтуны конечно ославили бы его на весь свет: вот уж, мол, и впрямь полоумный, мертвеца оставил наверху, а в могилу улегся сам! И в самом деле, он преугодно устроился в вырытой им яме, а покойника бросил на ветру. Ни разу не посмотрел на

него, не заговорил с ним — а ведь всю ночь как будто из-за него трудился! Как знать, может несчастный клял свою судьбу — ну и послала она ему покровителя! Потому что, если уж делаешь добро, так делай до конца, хоть ненадолго, а забудь о самом себе, как будто ты вовсе не существуешь, — как бы тебя ни клонило в сон, как бы ты ни продрог и окоченел, как бы ни ломило у тебя все тело. «Вот сосчитаю до трех и встану», — обманывал себя, досадуя на свою недогадливость или невольную небрежность, Кола-полоумный — но, как и следовало ожидать, все же наконец заснул и даже видел довольно длинный сон.

А видел он во сне, будто справлял поминки по заброшенному мертвецу. Раз уж позволили похоронить, так уважьте меня до конца, приходите сказать вечную память, — обрадованно приглашал он сограждан. А заодно старался утихомирить разъяренную жену, убеждал ее, что так им больше с руки, что без поминок им все дороже обойдется, так как в Сигнахи ничего от людей не скроется, и если похоронить покойника и не справить поминок, его не оставят в могиле. И будто бы это чрезвычайно заботило его в сновидении, и оттого он с чрезмерным, бросающимся в глаза усердием сзывал гостей. И притом прямо-таки трясся от страха — как бы не пропустить, не забыть кого-нибудь — Серго Цалтвинашвили, например, или еще того хуже — Наскиду. Весь Сигнахи собрался у него во дворе. Польщенные, зная себе цену и не сомневаясь в значении оказываемого ими почета, гости, степенно беседуя, направлялись к столу. А стол Кола-полоумный устроил невиданно обильный, неслыханно щедрый: в эти трудные времена протиснулся сквозь игольное ушко, залез по уши в долги, заложил все свое достояние и раздобыл то, чего никто и не понадеялся бы достать — ни у одного гостя не повернулся бы язык сказать, что поминки ему не по чину, не по чести. Столько всевозможной еды, всяческих кушаний громоздилось на столе, что, если бы даже убитый у старой церкви разбойник прожил еще столет и ел, не останавливаясь, все равно не смог бы все эти яства осилить. И гости, окидывая ублаженным взглядом все это изобилие, довольно посмеивались — разглаживались хмурые лбы, расходились насупленные брови, сжатые губы растягивались в широкой улыбке

до ушей, и выглядывали из них, готовые к бою, ряды сверкающих зубов. «Есть не зазорно» — придумал с самого начала человек в оправдание себе это повседневно и ежечасно полезное присловье, и в еорласии с ним люди, не стыдясь, уплетали все, что было на столе, не заставляя себя долго упрашивать, — знали, как полагается уважить оплакивающих покойника, и не чинились. Высились горки блюд, мелких и глубоких тарелок. Кушанья смешивались на тарелках, поглощались без разбора. Но сотрапезники, уже наполовину сытые, потные, с руками и лицами, блестящими от жира, все так же, не разбирая, продолжали опустошать прогибающийся под тяжестью яств стол — пыхтя, вздыхая, чмокая и скрипя зубами. — «Пусть вам достанется все, что не добрал в жизни покойный, живите, радуйтесь, плодитесь и размножайтесь», — благословлял своих гостей благодарный Кола-полоумный. А они потешались, насмехались над ним, и, распаленные от безмерной еды и нещадного питья, «степенно» беседовали друг с другом — чтобы не сидеть молча за столом, как какая-нибудь деревенщина. Кола-полоумный не знал, к кому обернуться, кого слушать — а впрочем, все равно при всем желании не смог бы разобраться, кто что говорил. Придерживая лопату на плече, он от напряжения надувал щеки и думал, злясь на себя: «Нет, наверно я вправду полоумный, потому и не понимаю, о чем они толкуют». Впрочем, шум, гам, галдеж стоял оглушительный, все говорили вместе, перебивая друг друга.

... Жалко-то жалко да Бог весть кто он такой что за человек откуда взялся да да не скажи нынче такое время сыну нельзя довериться знаете что мне вчера сказал мой наследник если говорит у вас больше нет здесь никакого дела разрешите пожелать вам спокойной ночи вот так ни больше ни меньше вежливо выпроводил меня из комнаты вот такие они все нынешние от того что хочу хорошего для себя человеке для других я оказываюсь плохим для себя для себя не все же о себе думать посмотри разок другой и по сторонам может кто-нибудь умирает а умирает так туда ему и дорога пусть помрет собачьей смертью я сам заброшенный да одинокий хватит мне в сиротки меня самого в Сигнахи ничего не скроется вот и он не спрятался




спросили верблюда отчего у тебя шея кривая а он знает ответил а что у меня не кривое в детстве ^{сишком} заставляли смолку жевать вот отчего у него ^{зубы} такие белые что ты мелешь. чудака где у него зубы ни одного не осталось наверно я о другом говорю так вот сперва мяса себе положите а потом будем беседовать таких бедолаг невезучих больше на всем свете не найдется; однажды у них покойник простудился и трое суток до самых похорон ему сопля вытирали все что только было в доме из белья простынь одежды изорвали на носовые платки что ты говорю мучишь этого парнишку эй что ты его мучишь смотри доберусь до тебя да где ты видишь парнишку ты слепая тетеря! это моя невеста а невеста вот какая воткнет лягушке сзади тростинку надует и катает по улицам как мячик кто да как же кто Лео ни парень, ни девка полупарень — полудевка эх как не вспомнить его дед вагонами возил вино в город солдата с ружьем приходилось с ним посылать есть оказывается такой человек с войны вернулся, если его хорошенько досыта накормишь он сплошь пламя и жар сзади пускает грохочет гремит как орудие ну разве это справедливо человек из задницы огонь выстреливает а ходит голодный этот полоумный! все нас благословляет радуйтесь и размножайтесь да как я буду размножаться когда моя жена близко не подпускает размножение бывает двумя способами двух сортов половое и вегетативное понял ничего ты не понял на лице у тебя написано что таращишь глаза что с тобой костью что ли подавился вот например Маргаритин цветок размножается вегетативным способом отщипни кусочек и посеи вырастет такой же цветок если мне не веришь вон спроси Сандро как называется Сандро цветок Маргариты постой черт неудобно раз он слепой так думаешь и не слышит а что я плохого говорю хочу у него узнать название цветка некультурные вы все некультурные уважаемая Евгения сударыня товарищ Евгения может вы нас удостоите скажете нам гост два слова нет брат это женщина что надо ученая женщина знающая и такой молодец не уступит никакому мужчине смотрите чтобы никто себе ничего такого не позволил отец наш добрый дорогой ты не умрешь для нас вовек затем что долг ты свой исполнил и жил как честный человек отец какой там еще отец он был еще молодой

парень я о своем отце говорю и вообще кто мне этот наперсток подсунул я сюда не одеяла стегать пришел постой слушай непутевый человек ты же на поминках зажми немного свою глотку так ведь раз поминки тем больше нам надо пить в вине горе утопить его жена говорит мне от него никакой пользы этот никчемный мертвец у него как змея свернулся на животе а мне братец ты мой ничьей милости не надо меня мой собственный запах похоронит когда вам станет от него невмоготу вы и засыпете меня землей а как же иначе а ну-ка говорила я что ты там пишешь в тетрадке и тотчас прибежал с тетрадкой такие писал стихи что не надивиться ты нас прославишь мы тобой гордиться будем говорю а он радуется да как радуется улыбается вот так вот испей дорогой испей воздерживаться нет больше смысла мышьяк-то я уже перед этим в стакан подсыпала о женщины ничтожество вам имя вы адские врата и братская могила ну вот брат зови его Гигушей чем он хуже Ушанги что мне братская могила напомнила ты знал что жилец Георгия Упарашвили из могилы вылез разок послушай его какие он чудеса рассказывает Гитлер знаешь что говорил если хотите уничтожить народ в первую очередь истребите семьи слушай отдохни хоть здесь немного слыханное ли дело вечные ссоры да драки а ну-ка угадайте что раньше уничтожится переведется груша или червяк не спешите немало именитых людей споткнулось на этом коварном вопросе Сигнахи мало что ли дал миру прославленных людей вот поэтому мы и воздержимся от поспешных выводов в конце концов мы все сидим за одним столом зачем они навалили столько зелени разве мы сюда пришли пасть нет почему ты так зелень говорят блудница накрытого стола то есть значит украшает стол передай-ка мне будь другом пучок сельдерея все что здесь было я уже сжевал уж не слишком ли поздно думаю эх неужели моя сила мужская от сельдерея теперь зависит говорят люди окончательно впадут в распутство да куда уж больше какой вам еще разврат нужен и еще знаете что Гитлер говорил надо дескать скрывать от народа конечную цель ты смотри вперед ешь пей на здоровье народ все равно ничего не поймет хоть скрывай а вот знаете что труднее всего не знаете а труднее всего проглотить сложенный зонтик и выбросить его из

себя раскрытым нет почему же и в наши времена бы-
ла семья дом знали и гостя и друга и врага однажды
в детские годы я уж не помню когда я был мальчиком
бабушка взяла меня в гости столько там было калош
и зонтиков у них на балконе можно было подумать
ярмарка выпей до дна и чашу поставь нет не ставь
неровен час сопрут, коли пить так пить у кого в руках
какая посудина пусть не выпускает из рук кабы не
проклятый слепой случай я и сейчас был бы там у
моей пышки когда ее муж застал нас вместе я выско-
чил в окно спрыгнул со второго этажа в чем мать ро-
дила у меня и сейчас почки опущены случайно не уми-
рают братец случайно рождаются поэтому надо знать
подходящие приемы недаром сказано своевременное
отступление залог победы Онан да здравствует твой
великий тезка если бы не он мы все перерезали бы
друг друга и если еще останется среди вас кто поря-
дочный с ним уже и вы сами без меня справитесь что
ты зря нервы себе треплешь время Гитлера, прошло он
нам давно рукой на прощанье помахал его бензином
облили и сожгли так ему и подобало кто никаких за-
конов не преступает тот и есть говорят преступник да
ну ладно брат дай хоть здесь покой своим мозгам где
ты был до сих пор люди уже кончили воевать а ты
только теперь вскочил на коня погодите погодите
вспомните еще меня не раз со всем светом воевать
легко ты выйди против одного человека на кулаки по-
смотрим какой ты молодец Ева женщина тебе говорю
Ева слышишь ну чего изволите слушаю говорите как
же боюсь я твоего несуразного мужа что он мне сде-
лает разрази вас гром а коли что так ослиными копы-
тами эх да на погосте дай-ка бросим кости если нет
справедливости так хоть кости бросьте нет брат в наши
дни если у человека эсть деньги так он неправым не
будет Онан старина ну-ка посмотри сюда так нужно
или не так, да так сударь мой да так и притом надо
повторять имя той кого сердце твое желает Евгения
Евгения Дугладзе не учусь и не тружусь я а
ищу я в жизни путь лучше то мне или это лучше что
перевернуть испей до дна и чашу поставь только из
рук не выпускай назад не получишь не отдадут тут
знаешь черный перец у меня кто-то спер специально
для поминок прислала мне племянница из Тбилиси

чего одна склянка стояла крышечкой закрывалась пусть огнем ядом в кармане рассыпется у того кто украл чаша какая там чаша я целую кружку или хоть кувшин опрокину такое у меня настроение наполните кружку побольше этим купоросным вином и с моей тарелки все туда же скиньте слейте ничего ничего в животе все равно все вместе будет ну ты тоже довольно крупно мелешь а вот давайте-ка выпьем за здоровье разбойника и за того кто его похороны на себя взял давно я такого удовольствия не получал я говорю ей что ты слушаешь патефон с утра до вечера ведь по-русски ни слова не понимаешь ну что ж говорит хоть по-русски и не понимаю а его голос все равно слышу вот так и сказал нет не так сказал правильно так и сказал только дайте мне минутку покоя наконец-то попалась мозговая косточка будьте хоть капельку вежливы окажите участнику войны почтение как подобает да но ведь ты в Германии не был кто я не был да где же я тогда был по-вашему смотри не выдумай теперь что тебя немецкая баба у себя прятала ха-ха-ха-ха хо-хо-хо-хо хи-хи-хи-хи хе-хе-хе-хе умру ребята от смеха Маргарита сигнахская если бы сюда поближе поставишь еще одно блюдо думаешь Бог на тебя разгневадается рука у меня уже отросла на целый вершок передаю передаю никак не напереддамся интересно та старуха немецкая была очень старая вот которая нашего учителя у себя укрыла почему вы не верите люди неужели вы собираетесь вот так жить может мир еще все-таки не погибнет не собирается тьфу проклятье разрази Господь у честного человека слышите у чистого человека в головах свеча горит а в ногах агнец привязан ты этими рассказнями других корми что это такое чистый человек все одинаковые будет иль не будет чистым полетит к чертям со свистом зря грешишь Юсеб лошади у тебя есть подвода есть еще и конюшня хватит тебе и на погребение и еще много останется кому только достанется так ежели ты учитель хоть чему-нибудь должен ты ребенка научить не будь тут Онан помянут куда им еще с ума сходить их и так на привязи держать надо заговорить с ними нельзя тотчас кидаются слова не дают сказать если дескать так делалось где же вы-то были а вот скажите мне видали когда-нибудь горящую отару овец вы не



думайте что я простой человек какой-нибудь или что я вам ровня меня экипаж царя Ираклия ждет у дверей ну как же как же мы еще тебя проводить не успеем как ты назад воротись да разве ты спокойно дома заснешь когда здесь столько дармовой еды на столе раскидано что ты там плел насчет горящей отары да красивее ничего не увидишь в особенности ночью нынче оказывается в горах так вот сводят счеты между собой оболют бензином овец и подожгут а овцы не разбегаются не рассеиваются нет у них бедняжек на это соображения а наоборот сбиваются в кучу и кружится кружится обезумевший огневорот бэээ бэээ бэээ на мне! рубаха из керосина и пуговицы из огня прошу вас больше я не могу не в силах если и я тут умру хорошие же это получатся поминки эй люди люди...


«Пусть болтают что хотят», — думал Кола-полоумный, но притом чувствовал, что надолго эго не хватит, не сможет он глядеть на всех этих людей, терпеть их бессмысленную трескотню, дивиться их чудовищной прожорливости. Но ведь не сумеет он удержаться, выйди из себя — и дело, столь хорошо им начатое, в самом деле пошло бы прахом. Но пока он еще был приветлив, ласков с гостями, подольщался к разомлевшим от еды, рыгающим людям, а они, как обычно, смеялись над ним, вышучивали его, объевшись у него за столом, теперь потешались над его недоумением, и это тоже было вполне в их обычаях, потому что изо всего, даже из чужой беды, они непременно должны были извлечь какую-нибудь пользу для себя. — не такой это был народ (быть может — уже не такой, измененный войной), чтобы горевать по поводу чужого горя или не спать ночей из-за чужих несчастий. Раз уж они родились на свет и в другой раз уже не рассчитывали родиться, то и торопились ухватить все, что можно, гребли к себе и хотели для себя одних всего, вместе, заодно, чохом да, да, сударь мой, оттого что хочу хорошего для себя, я и оказываюсь плохим для других. Но Кола-полоумный все же должен был стлаться перед ними, если он хотел, чтобы его покойнику дали спокойно лежать в земле. Он оказался между двух огней, как чей-то осел, и не знал, в каком из них сгореть, испепелиться целиком — вытерпеть весь этот разгул ради покойника или

во имя обыкновенного человеческого благообразия прекратить балаган, разогнать всех, как обожравшихся падалью стервятников. — «Слушай, я больше не могу терпеть», — шепнул он жене раз, другой. А жена выходила из себя: «Зачем же ты их всех созывал — а коли пригласил, так чем тебе теперь не угодили эти почтенные люди?»

Такие вот чувства и переживания обуревали уснувшего на дне вырытой им могилы, скорчившегося от холода Колу-полоумного. Он крепился изо всех сил, чтобы довести все дело до завершения как подобает, спокойно, по-умному, но в конце-концов безумие взяло в нем верх — он взмахнул сверкающей своей лопатой над головами расшумевшихся, хохочущих и сквернословящих гостей и взревел: «А ну, убирайтесь отсюда, кому еще жить не надоело!» И притом, сам себе ужасался в душе — «Что это со мной, да я в самом деле веду себя как сумасшедший!» Окаменевшие от страха застолицы, замерев со вздутыми от непрожеванных кусков щеками тарацили глаза на хозяина, который угрожающе тряс в воздухе лопатой, а жена его, закрывая от мужа окруженный сотрапезниками стол, то извинялась перед гостями: «Простите нас, не обижайтесь, знаете ведь, что он полоумный», — а то, брызжа слюной, честила мужа: «Пусть тебя сегодня же увезут и посадят на привязь, мочи моей больше нет терпеть». И в эту самую минуту Кола-полоумный проснулся, но еще несколько времени валялся на дне могилы, скорчившись от холода, пока окончательно не пришел в себя, не очнулся от сна, и пока нестройный голос пригрезившихся гостей-поминальщиков не слился в его ушах в прежний, назойливый, донельзя опостылевший гул ветра.

Когда он вылез из могилы, то увидел, что уже порядком рассвело. Ветер тут же швырнул ему в лицо пригоршню рыхлой земли и он, брюзжа и ругаясь, отряхивая бороду и волосы, повернулся спиной к ветру.

Закатанный в брезент труп мирно покоился около терновых кустов. На растопыренных шершавых ветках кое-где еще оставались необорванные зверями перезрелые, чернильно-черные ягоды, и у Колы-полоумного рот сразу наполнился слюной, так захотелось освежиться этими плодами. Но ему пришлось немало помучиться



и порядком ободрались себе руки, пока удалось исполнить свое желание. Он подтягивал к себе одну за другой бившиеся под ветром ветки, но ягода при первом же прикосновении отрывалась от плодоножки и отыскать ее на земле, среди желтой, увядшей травы и палых листьев было совершенно безнадежным делом. Наконец он ценой долгих усилий завладел желанным лакомством, и, прежде чем засунуть его в рот, бережно, словно лаская, погладил ладонью темный плод, то ли опорошенный белым, то ли затянутый светлой дымкой. Сок дикого лесного плода сразу обжег ему губы, но Кола-полоумному было это приятно, он ожил, приободрился и весело крикнул через плечо, обращаясь к завернутому в брезент труп: «Не обижайся, что могила получилась у меня немного неровная!» Хотя, конечно, мертвеццу было совершенно безразлично, как выглядела его могила. Или, скорее всего, он лучше Кола-полоумного знал, что долго ему в этой могиле не придется лежать.

Кола-полоумный бросил косточку плода в могилу, схватился снова за лопату и насколько это было возможно подравнивал края и стены вырытой им ямы. Ветер трепал ему волосы и бороду, он был весь переначекан землей, но то, что делал — делал с охотой, и поэтому его внешний вид несколько не соответствовал его расположению духа. А ветер все дул по-прежнему, по-прежнему пытался сбросить Кола-полоумного с обрыва, но Кола-полоумный всякий раз вовремя приседал перед ним, и ветер всякий раз после очередной неудачи переваливал через лощину, чтобы там, на другой стороне перевести дух и собраться с силами перед тем, как вернуться. А Кола-полоумному, занятому своей работой, снова слышались вчерашние невнятные, взволнованные голоса — крики, улюлюканье, хохот — но стоило ему остановиться и, затаив дыхание, прислушаться — как доносились до него лишь свист и вой ветра. А ветер был всамделишный, не обман слуха: он был всюду, ударялся в ярости то об один горный склон, то о другой, одной ногой стоял на той стороне лощины, другой — на этой. Кола-полоумный трудился, не обращая внимания ни на ветер, ни на усталость. Ни разу не задал он себе вопрос: а не напрасен ли и не нужен весь этот мой труд? Он был твердо уверен, что делает благое, божеское дело. Но по-видимому не

суждено ему было спасти свою душу, предав земле безвестного мертвеца, поскольку, как сказал ему лейтенант, мертвец этот был собственностью государства, и никто не мог самовольно присвоить его, никто не имел права похоронить его где и, как ему заблагорассудится, а тем более тайно, исподтишка. Но Кола-полоумный не задумывался об этом, для него, главное было — как можно лучше завершить дело, и во имя этого он не жалел сил. Потом где-то заревел осел, откуда-то повеяло дымом, но он все трудился и вскоре красиво округлил со всех сторон могильный холм — к этому времени он уже так промерз, что едва мог шевелить пальцами. С трудом подхватил он под мышку лопату и пошел прочь от этого места даже не оглядываясь — словно и не оставалось ничего стоящего внимания позади. А в дом к себе вошел с таким видом, словно возвратился после дидгорской битвы, нагруженный трофеями. — «Пусть теперь ищут, сколько хотят», — гордо сказал он жене, поставил лопату в угол и обхватил заледеневшими руками печную трубу. Но труба была холодна, жена его еще только растапливала печку, присев перед нею, и словно бы между прочим, вскользь спросила его: «Где изволил быть?» — так как нетрудно было догадаться, что он провел ночь под открытым небом: с растрепанной бороды и волос его осыпалась сухая земля.

Кола-полоумный пыжился и раздувался изо всех сил — он был очень доволен собой и невероятно гордился тем, что вернулся победоносным со своей войны — не столь уж легкой для одного человека. Да чего стоило одно то, что он выкрал труп из милиции! Он был с полным основанием, по всей справедливости горд собой, часто барабанил озябшими пальцами по печной трубе и смешно раздувал щеки. — «Ну вот, все равно, что отца похоронил», — говорил он жене. — «Покуда не угодишь в каталажку, не успокоишься», — отвечала жена.

Печка понемногу разгорелась, загудела. Под потоком горячего воздуха зашевелилась, зашуршала в печной трубе старая, скопившаяся копоть. Послышался треск разогретой жести.

— За что же в каталажку, жена, что я плохого делаю? — еще шире улыбнулся Кола-полоумный и до-

бавил с великодушной скромностью: — С меня спрашивать нечего, я лишь Божью волю исполняю.

— Ступай, ложись в постель. Ну и вид у тебя — безумец да и только, — сказала жена.

Кола-полоумный, правда, поспал немного в могиле, но по-настоящему выспаться ему было сейчас в самый раз. Поэтому он безропотно подчинился жене и ушел спать в другую комнату.

Жена готовила корм для свиней и что-то бормотала себе под нос — наверно, проклинала по привычке судьбу за то, что та наградила ее именно этим вот полоумным мужем, а не расщедрилась на кого-нибудь получше. А Кола-полоумный, зарывшись головой в подушку, лишь сладко улыбался ее воркотне, глаза у него закрывались сами собой, и он чувствовал, как сон волочет, утаскивает его в свою темную берлогу без дна и без стен. Он поддавался с удовольствием, не сопротивлялся даже для виду, нисколько не старался отбиться, высвободиться, так как в эту минуту ему действительно ничего не нужно было, кроме сна. Впервые за долгое время он чувствовал себя свободным от отягчавшего его долга и, следовательно, само собой разумеется, счастливым, но, к сожалению, счастье его продолжалось недолго — нежданно-негаданно свалившееся, оно столь же нежданно исчезло. Но сейчас у него было такое чувство, словно он был песочными часами, виденными когда-то в детстве и запомнившимися с тех пор, и вся мыслящая и чувствующая часть его существа, подобно заранее отмеренной массе песка, бесшумно и беспрепятственно перетекала из одного стеклянного шара в другой. И перед той самой минутой, когда он должен был уже весь просыпаться в нижнюю сферу, слышался ему голос лейтенанта; но не испуг испытал он, а просто — сердце в нем оборвалось, таким недолгим показалось ему ощущение счастья по сравнению с длительностью его ожидания. «Вот и конец мой пришел», — подумал он почему-то в полусне и изо всех сил зажмурил глаза, чтобы как-нибудь удержать неожиданно спугнутый и готовый ускользнуть сон. Расстроенный, обманутый в надеждах, разочарованный, он предпочел бы сейчас смерть пробуждению, возвращению к действительности. Хотя разговор его жены с лейтенантом приглушенно доносился до него,

он все еще наполовину был там, в блаженном царстве сна, среди видений, порожденных здешними, яввю ири-несенными голосами, и пока что не мог толком разобрать, что скорее соответствовало действительности то, что он слышал или то, что ему чудилось.

— «Где твой муж изволит обретаться?» — спросил лейтенант жену Кола-полоумного. — «Где ему обретаться — спит», — отвечала жена. — «С чего это он разоспался среди дня! Что всю ночь делал?» — не оставал лейтенант. — «А ночью его дома не было», — сорвалось с языка у жены: не успела удержать слетевшее слово. — «Где же он был? — взволновался лейтенант. — Какая же ты жена — не знаешь, где ходит-гуляет твой муж?»

Но жена Кола-полоумного на этот раз промолчала — видно, поняла, что сболтнула лишнее и придержала язык.

— Зато мы знаем, где он был и что он делал, — повысил голос лейтенант, наверно для того, чтобы Кола-полоумный его услышал и проснулся сам, по своей воле, прежде чем его силком разбудят. — Тот человек, живой или мертвый, принадлежит государству, — вскричал он еще громче. — Я же ему говорил! Я же ему объяснял! Так пусть теперь встанет и держит ответ за свои дела! — сурово закончил он.

— Роланд, дорогой, — растерялась, перепугалась жена Кола-полоумного, — Он же не в своем уме! Слыханное ли дело — сумасшедших арестовывать!

— Сумасшедший он или нет, пусть вернет мертвое тело, — смягчился лейтенант.

Кола-полоумный слышал весь этот разговор, но он был все еще в полусне и никак не мог стряхнуть с себя дрему, проснуться до конца. Но там, в нижней сфере, в лучшей половине своего существа, он как бы услышав голос лейтенанта, мгновенно вскочил с постели, выбежал к незваному гостю и решительно отрезал: «Хоть убей меня, а мертвого вернуть не могу. В кои веки я сотворил благое дело в этом мире — как же откажусь от него по доброй воле!» — будто бы рассмеялся он в лицо лейтенанту. — «Но ведь это мой покойник», — притворно усмехнулся будто бы лейтенант. — «Ну что ты, это не твой покойник, а мой отец, а отца я могу похоронить как захочу», — бессовестно солгал



будто бы Кола-полоумный. — «Что ты там болтаешь, какой он тебе отец!» — весь перекосясь лейтенант. — «Вот именно, мой отец», — не сдавался будто бы Кола-полоумный, — «А ну-ка, наложите оковы на этого врунишку», — закричал будто бы, выйдя из терпения, лейтенант. Грдзело и Несва будто бы подскочили с двух сторон и схватили Колу-полоумного за руки, а Арамндара наложил на него старые, ржавые оковы. Колу-полоумного будто бы больше всего удивило, какие они старые, наверно, еще Амирани был закован Богом в эти цепи. — «Что вы делаете, разве можно безумного в тюрьму сажать», — выскочила будто бы жена. А сам Кола-полоумный будто уговаривал ее: «Замолчи, не унижайся, пусть они на себя посмотрят, а мы-то чисты перед Господом Богом». — Но жена будто бы не слушала его и еще яростнее защищала мужа: — «Чего вам от него нужно, что он вам сделал, посмотрите, какие у него руки! Покажи им, пусть видят!» — толкала она в бок будто бы Колу-полоумного, но он почему-то стыдился своих мозолистых, грязных, расцарапанных колючками терновых кустов рук и изо всех сил прятал их, прижимал к животу вместе с оковами.

Продолжение следует

Перевод Элисбара АНАНИАШВИЛИ

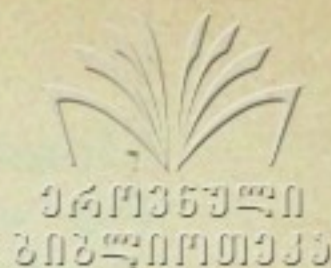
* От редакции: в конце 4 главы романа «Мартовский петух» («Л. Г.» № 5) по техническим причинам выпали следующие строки: «Ребенок сперва, надкусив ягоду, размазывает сок по лицу, потом торопливо, с собачьим нетерпением разжевывает — и выплевывает жвачку. А цыганка все говорит, азартно, сурово, словно за что-то корит маму, которая слушает с виновато опущенной головой. Но постепенно лицо мамы проясняется, она понемногу поднимает голову и уже радостная, с сияющими глазами, смотрит на Нико так, словно впервые его увидела, или, как если бы только что в эту минуту случайно нашла давно уже потерянную, давно оплаканную драгоценную вещь, о которой уже и перестала тужить».

Гокио

1.

Над Гокио, должно быть, снег идет,
От тяжести его прогнулись крыши.
Смеркается. Густеет тишина —
Мне с давних пор так памятна она.
В хлевах угрелись овцы и коровы,
Привычно дремлют куры на насестах,
Не лают псы — щадя покой хозяев,
А может быть, страшась привлечь волков,
Спят сладко, в лапы головы уткнув,
В излюбленных укромных уголках...
Зима, пора каминов закопченных,
Гудящих мирно, пахнувших дымком.
За длинными столами в час вечерний
Гокийцы вспоминают прожитое.
Ночь близится, студена и долга.
...Гудят каминны, синий дым струится
В глушь неба сквозь неспешные снежинки.
Вот дом — гнездо, взрастившее меня;
Кушетка эта сны дарила мне,
Каких потом не видел уж нигде я.
Обильный, величавый снегопад
Укрыл дома, деревья, огороды,
И улочки, и кладбище. На нем,
Холм увенчавшем, обрели покой
Дед, бабушка, и дядя, и братишка
Мой младший, незабвенный. Мысль о них
Всегда — как тихое напоминанье
О том, что чистой быть должна душа,
Как этот чистый снег, летящий с неба,
О том, что жизнь — и впрямь не бесконечна,
Ты должен так прожить ее на свете,
Чтоб в некий час и прах твой безответный
Не стал обременителем земле.

2.



Познал я в жизни многие науки:
Терпеть невзгоды, искренность ценить,
Печалиться и радоваться тоже,
Но что всего главнее и дороже —
Я научился у камней, деревьев,
У полевых, без запаха, цветов,
У пращуров моих — их лица были
Всегда темны от ветра, от загара, —
У пращуров, над чьим приютом вечным
Снег реет, тишины не нарушая —
Я научился мудрости простой:
«Сей доброту!» Два этих внятных слова
Прошелестела мне однажды ива,
Та, одинокая, на берегу,
Когда я срезать веточку собрался,
Чтоб смастерить нехитрую свирель.
«Сей доброту!» — мне говорил источник,
Когда стоял я, преклонив колени
Над ним, готовый жажду утолить.
«Сей доброту!» — завет прекрасный этот
С самих небес мне принесли снежинки.
Я их явленья жадно жду всегда
И радостно лицо им подставляю.

3.

С тех пор немало времени прошло.
Все было — обретенья и утраты,
Сам поступился многим, да и много
Чужие руки отняли, но эти
Два светлых слова я храню в себе.
Они — завет. И крест, и утешенье.
Живая неизбывная судьба.

4.

Обильный снегопад в моем селе.
От тяжести его прогнулись крыши.
И подобающая снегопаду
В округе воцарилась тишина.
И крылья белые воспоминаний

Меня уносят в этот час туда —
По улицам заснеженным бродить,
Чтобы душа вновь причастилась небу,
Чтобы под мягким, теплым снегопадом
Смиренно и доверчиво сказать:
Всевышний, белым снегом, щедрым снегом
Меня по этим улочкам развей!

Игра с огнем

Я долго шел,
Я трудно шел —
Что ж, наконец передохну
На высоченном перевале.
Лежу — залечиваю раны:
Подарок дней, что на меня
Набрасывались, как собаки.
Дороги длинные мои!
Я шел — трудился, сочинял,
Еще свистел —
Дразнил беспечно
Те дни — свирепых тех собак...
— Потише, брат! Зачем ты так? —
Меня увещевала немочь,
Ползущая по мостовым.
А я свистел —
В садах, в полях,
У стен старинных крепостей;
Безбожно тратил, чем владел,
Меня, бывало, распинали,
А я, бывало, воскресал —
И знал, что жизнь —
Игра с огнем.
Ложь отвергал с негодованьем
И сроду зависти не ведал;
Иной дворец считал я хлевом,
А расторопность муравья
Предпочитал слоновьей мощи,
Безвольем связанной, как сном.
Вот так я шел,
Вот так я жил,
И вот теперь на высоте

Лежу, залечиваю раны —
Они, надеюсь, не смертельны! —
Подарок дней, что на меня
Набрасывались, как собаки.



Сею, сажаю...

Природа — в хлопотах:
То дождь сверкает частый,
То солнце жжет...
Трава по пояс поднялась.
С семи утра копаюсь на участке,
К трудам земли
Причастностью гордясь.
 Природа высока и величава,
 Она царит
 Над злом и над добром,
 Равно сорняк и колос привечая,
 Равно даря их
 Лаской и теплом.
Весь в думах о семье,
Веду посадку
Того-сего,
Усилий не щадя,
И, как строку — пером,
Веду мотыгой грядку,
Как свежей рифмы,
У небес прошу дождя.
 Добра природа:
 Колосок, чертополох ли —
 Ей все одно...
 Да я-то не таков!
 И вот с утра,
 Чтоб грядки не заглохли,
 Сражаюсь
 С полчищами сорняков!
Прилечь на поле,
Ощущаю колко
Стерню,
В далекий глядя небосвод.
Поет на сон грядущий перепелка
И гул усталости
Просторами плывет.

Пора домой.
Закат погас горячий,
Окутан мир покровом темноты.
Я в дом войду,
И станет он богаче:
В моих руках —
Родных полей цветы...

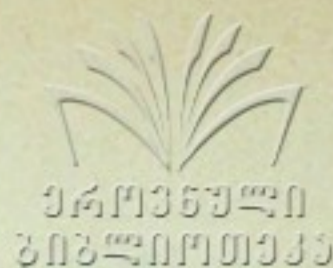
Луна над Уплисцихе

Влетает поезд в Уплисцихе —
И вот плывет в окне вагона,
Явившись, как из-под земли,
Та маленькая церковь на холме,
И вылупилась, как птенец,
Над ней из облаков прозрачная луна.
Но были вместе — только миг,
Их разлучило поезда движенье:
Над карталинскими полями
Луна летела вдоль окна вагона,
А маленькая церковь
Осталась на своем холме.
В неведомые времена
Проросшая, похоже, из земли,
Осталась — как окаменевший миг,
Самой истории
Застывшее мгновенье.

Лев

Он год за годом —
Жалкий узник зоопарка.
Металл решетки — вот что наяву,
А воля
Африкой громадной снится жарко,
Где даль и заросли...
И очень горько льву.
Но еще горше от того,
Что неустанны,
Галдят и носятся беспечною гурьбой
В железной клетке по соседству —
Обезьяны,
Вполне довольные
И клеткой, и собой.

Хотя бы однажды



До смертного часа, который назначен и мне,
Я должен хоть раз умереть за другого,
Себя хоть однажды почувствовать глиной в огне —
Пройти через обжиг суровый.

Я должен надсаживаться, влача
Груз, муравьиному соразмерный,
Сжигать себя заживо, как свеча,
Чтоб кто-то во тьме видел свет ее верный.

А если случится крушенье, разгром
На ликование глущу и злодею,
Воздать за добро успею добром,
За друга пожертвовать жизнью сумею.

Я должен распятия не избежать, наконец,
Чтобы понять и Христово величье.
Пускай не слепит меня царский венец,
Не отвращает одежда мужичья.

До смертного часа, который назначен и мне,
Я должен хоть раз умереть за другого,
Себя хоть однажды почувствовать глиной в огне —
Пройти через обжиг суровый.

Перевод Владимира ПАЛЬЧИКОВА





* * *

(Из цикла «Грузия»)

В грузинском танце
 царственно прекрасен
 двух женских рук —
 двух лебединых шей
 скользящих —
 плывущий круг...
Над гулким водопадом ритма,
 рук — лебединая чета,
 парит —
 спокойна, величава
 и целомудренно чиста.
А рядом —
 неотступно кружит,
 зовет и манит —
 тень орла,
Но грациозно, недоступно
 плывут два белые крыла.

* * *

Крылатый снег...
Покой
 и пробужденье легкое,
 без дум...
И белизна,
 там за окном.
И непривычно нежный
 заснеженных ветвей
 графический узор,
Продернутый серебряною нитью...
Счастливый миг!
Вступает глаз влюбленный
 с природою
 в тишайший разговор.

* * *

Пробежала тень, легла...
Я за нею, — тишина...
Затаилась, жду, когда же
мне расскажет свою сказку
тени нежной глубина.



Берегут японцы тень.
Храмы строят
для теней,
для раздумий,
для молений,
для покоя,
утешенья...

* * *

Сегодня праздник
«тихих слов»...
Я мимо всех хожу углов
и тень оберегаю.
Какое счастье иногда
звонящие колокола
Души своей послушать,
улыбаясь.
И сокровенные слова
надежды затаенной
горчинку грусти,
Как аромат живой цветка,
Принять, благословляя...
Мелодия души слышна
нечасто, редко, иногда...
В ней вечность обитает.



Убийца проживает в 21-ом номере

РОМАН

ПРОЛОГ

Прохожий упал, даже не вскрикнув. Туман тут же поглотил его еще до того, как он успел рухнуть на землю. Выпавший из рук кожаный портфель шлепнулся на тротуар со звуком, напоминающим пощечину.

Вздыхнув, мистер Смит подумал: «До чего же все это просто! Даже проще, чем в первый раз!»

И в самом деле: сейчас он не испытывал той рези в желудке, которая начала мучить его в прошлый раз, а ладони не увлажнились от пота.

На этот раз смертельный удар был нанесен уверенной и твердой рукой.

Фонари горели еще с самого утра, выстроившись вдоль улиц, словно часовые, и обволакивая их коконами света, а случайно попадавшие машины ползли со скоростью пешехода. У регулировщиков были видны лишь белые перчатки и возвышающиеся над бледными пятнами лиц каски. Словом, погода для убийц была подходящей, — как сказал мистер Смит миссис Хобсон, выходя из дома.

Перевернув тело ногой, мистер Смит присел на корточки и взял жертву за запястье, а затем его руки в черных резиновых перчатках быстро, словно жуки-могильщики, пробежали по телу.

Десять минут спустя перед домом номер пятнадцать по Рэкхем-стрит вокруг лежащего на тротуаре трупа собралось четыре человека.

Одним из них был доктор Грэйвз, работающий в

Печатается с незначительными сокращениями.

расположенной неподалеку «Больнице Принцессы Луизы». На другом была форма констебля, третий был инспектором Фуллером из Скотланд-Ярда. Наконец, четвертый, явно подавленный свалившейся на него ответственностью, также работал в «Больнице Принцессы Луизы», однако не в качестве врача, а технического служащего. Именно он и обнаружил труп, споткнувшись о него несколько минут тому назад, и именно он-то и поднял тревогу.

— Пролом черепа, — объявил доктор, поднимаясь с корточек. — Смерть наступила мгновенно, примерно с четверть часа тому.

Затем, не проявляя ни малейших признаков волнения, он добавил:

— Если я не ошибаюсь, это уже второй за истекшие три дня?

Инспектор в свою очередь тоже склонился над трупом. Как человек хорошо знающий свое дело, он левой рукой залез во внутренний карман пиджака убитого, однако ничего там не обнаружил, а правой — пошарил под телом и достал оттуда визитную карточку с написанным от руки именем.

— Это что, опять... — начал было констебль, однако инспектор Фуллер прервал его, коротко ответив:

— Да.

Старший офицер Стрикленд слыл, и не беспричинно, наиболее флегматичным полицейским во всем Скотланд-Ярде. Даже его супруга, миссис Стрикленд окончательно отчаялась заставить его потерять хладнокровие в тот день, когда она уже в третий раз подарила ему девочек-близнецов.

— Ну и?.. — спросил старший офицер Стрикленд, когда инспектор Фуллер закончил свой рассказ об убийстве, совершенном на Рэкхем-стрит.

О чем бы ему ни докладывали, пусть даже о каком-нибудь бедолаге, перерезавшем себе горло, предварительно уничтожившем всю свою семью, старший офицер Стрикленд неизменно осведомлялся: «Ну и?» Его не удовлетворяла ни одна концовка.

— Портер сознался, мистер. Он дал проглотить жемчуг своим красным рыбкам.

— Ну и?

— Женщина взята, сэр. Это — служанка из «Лайонза».

— Ну и?..

Так что добрая половина столичной полиции мечтала в один прекрасный день ответить ему: «Ну тут-то волк ее и съел!»

Даже Фуллер — этот толстяк и формалист Фуллер, мечтал в тот вечер ответить именно так. Однако Фуллер умел скрывать свои мысли.

— Вот и получается, что человек с Рэкхэм-стрит был убит мешочком с песком, точно так же, как и позавчера был убит мистер Берман на Тависток-роуд. Оба убийства были совершены с целью ограбления. Наконец и на этот раз убийца оставил нам свою визитную карточку.

С этими словами инспектор Фуллер положил перед своим шефом карточку, найденную им под телом убитого.

— «Мистер Смит!» — прочел написанное вслух старший офицер. — Интересно, что заставляет этого типа расписываться за совершенные им убийства?

— Да я и сам не могу этого понять! — ответил Фуллер. — Это можно было бы объяснить только тем, что убийца — сумасшедший. Однако, мистер Смит вовсе не похож на сумасшедшего. Им движет самый банальный мотив — деньги.

Стрикленд покачал головой:

— Кто знает? Быть может эти кражи служат лишь для того, чтобы запутать следствие? А что вы знаете относительно личности самой жертвы?

— Пока еще ничего. Но я поручил шестерым полицейским опросить жителей близлежащих домов.

Стрикленд молча одобрил действия инспектора. Он думал о человеке, называвшем себя Смитом. Настоящее ли это или вымышленное имя? Первое — маловероятно. Скорее всего вымышленное. Однако в любом случае непонятно, зачем он публично признается в своих преступлениях.

Стрикленд еще раз помечтал о своем, теперь уже испорченном вечере, — ведь ему придется сидеть в своем кабинете до тех пор, пока окончательно не угаснет надежда узнать еще сегодня дополнительные сведения по этому делу. Он помечтал о козьем жарком,

которое миссис Стрикленд съест без него и о том мрачном гневе, который овладеет полковником Хемпторном, когда тот узнает об этом втором убийстве, совершенном мистером Смитом.

— Слушайте меня внимательно, Фуллер! — произнес он наконец. — Если сегодня вечером личность жертвы установить не удастся, то устройте так, чтобы утренние газеты поместили объявление о розыске. А от доктора Ханкока потребуйте, чтобы он представил заключение медэкспертизы не позже, чем через двенадцать часов. На всякий случай удвойте патрули в районе Колледжа Сент-Чарльз и остановки Парк Вестбэрн. Отдайте приказ останавливать и обыскивать всех подозрительных типов... Об обстановке ежечасно докладывайте лично мне.

«Ежечасно!» — Фуллер мысленно отметил про себя, что шеф проявил наибольшее волнение, на которое только был способен. Он ответил: «Хорошо, сэр», — и направился к двери.

Выходя, он обернулся и увидел, что Стрикленд держит между большим и указательным пальцами визитную карточку, на которой рукой неизвестного были выведены большие печатные буквы, складывающиеся в имя Смит. Шеф задумчиво разглядывал их.

Взгляды обоих мужчин встретились, и Фуллер позволил себе заметить:

— Тяжелые времена наступают для всех тех, кто носит фамилию Смит, если позволите высказать мое мнение, сэр.

И действительно, убийство, совершенное на Рэкхем-стрит сорок восемь часов спустя по совершении аналогичного преступления, кроме всего прочего, имело еще и немаловажные социальные последствия.

Люди, пользовавшиеся до той поры одним лишь почтением, неожиданно начали вызывать у окружающих лишь чувства враждебности и недоверия, хотя за ними не числилось никакой вины, кроме той, что их фамилия была Смит. При виде Смитов их знакомые переходили на другую сторону; на них показывали пальцами. «Бойкот — Смитам!» требовал глас народа. В Ист-Энде полиции пришлось встать на защиту множества магазинов, которые толпа хотела разгромить. А синьор Шипини, владелец отеля «Саварен», еще не забыл того

сражения, спровоцированного как-то в субботу, после обеда, одним грумом, которому пришла в голову досадная мысль: пройтись по холлу гостиницы (в котором все же нашлось не менее трех паршивых овец), с грифельной доской, содержащей следующее объявление: «Мистера Смита просят к телефону». Хотя и обошлось без жертв, но виновных обнаружить так и не удалось.

И понапрасну один лондонский еженедельник, известный своим неиссякаемым юмором, предложил перекрестить в один присест этих каких-нибудь пять тысяч (?) лондонских Смитов в Джонсонов. В памяти еще было живо воспоминание о Джеке Потрошителе, которое, казалось, отняло у людей всякое чувство юмора. Что правда, мистер Смит не обезображивал трупы своих жертв, как это делал его предшественник, но, с другой стороны, преступления этого таинственного Смита нельзя было оправдать лишь одним сумасшествием. Ибо свои злодеяния он совершал исключительно из корыстолюбия. В конечном итоге нижеизложенные события лишь увеличили панический страх лондонцев.

Так некий мистер Берман был убит на Тавистокроуд 10 ноября в 11 часов вечера. Второй жертвой оказался некий Бенжамен Соуар, как выяснилось впоследствии, антиквар. Он был убит на Рэкхем-стрит 12 ноября около пяти часов пополудни.

А девятнадцатого числа того же месяца мистер Смит совершил свое третье убийство. На этот раз его смертельный удар настиг пользующегося большой известностью ходатая — мистера Деруэнта. А еще в тот же день некий мистер Джеробах Смит бросился в Темзу с моста Самоубийц. Его удалось выловить, однако он успел схватить сильнейшее воспаление легких, перенесшее его в мир иной через двадцать четыре часа. В последующие же дни в Лондоне появилось несметное количество Смитов, оставшихся как без работы, так и без крова; они съезжали со своих прежних кваргир, но тщетно пытались снять новые. Отныне владельцам этого имени произносить его было небезопасно. Так, скажем, для слуги это означало немедленно получить расчет, для коммивояжера — быть выставленным за дверь, а для бродяги — лишиться своей каменной подушки под мостом Тауэр.

Некоторые светлые умы, вмешавшись в горячий спор, попытались было доказать, что вряд ли имя Смит, которым прикрывается убийца, на самом деле его настоящее имя. Но лондонцы отвечали им крайне недружелюбно и бросали в их сторону подозрительные взгляды.

Лондон, познавший этот ужас, казалось был глух к голосу разума! Лондонцам требовалось во что бы то ни стало отыскать виновных.

Тем временем Скотланд-Ярд не бездействовал. Его шефы, прозванные в народе «Большой четверкой», ежедневно принимали все новые и новые меры.

Так, после убийства мистера Деруэнта, совершенного на Мейнл-стрит, шефы, взяв в руки план города, убедились, что радиус действия мистера Смита вписывается в большой четырехгранник, тянущийся вдоль Британского музея до Ворм Вуд Скребз и охватывающий большую часть районов Паддингтон, Бейзуотер, Ноттинг-Хилл и т. д.

В результате было принято следующее решение:

1. Все констебли и детективы в штатском, патрулирующие эту часть города, днем и ночью должны быть обязательно вооружены;

2. При первом же признаке появления тумана их состав будет удваиваться;

3. В случае необходимости они получают право на обыск любого одинокого прохожего;

4. Подразделения оперативных групп полиции и мотоциклистов, ведущих патрулирование в этих кварталах, будут увеличены (опять-таки в случае туманной погоды) на 50 процентов;

5. Владельцы гостиниц, домашних пансионатов и т. д. обязаны помогать полиции, сообщая ей о каждом, кто вызовет у них хоть малейшее подозрение.

Эти меры, повлекшие за собой еще с два десятка других мероприятий (в частности, испытание новых методов освещения в туманное время, налеты на трущобы и т. д.), во-первых, подняли дух населения, а во-вторых, временно приостановили преступную деятельность убийцы, который оставался без «работы», если можно так выразиться, в течение целых тридцати четырех дней.

Пожалуй, всем известно, с каким ликованием и как

дружно Лондон празднует Рождество. Именно поэтому лондонцы в глубине души были вправе надеяться, что мистер Смит, если он, конечно, англичанин, на время Рождественских празднеств сделает передышку.

И все же, надо полагать, что мистер Смит не был англичанином или же, «гороховое пюре» цвета серы, которое устилало улицы с 12 часов дня 24 декабря заставило его напрочь забыть об этом.

Как бы там ни было, но констебль Альфред Берт, идя вечером от Вестерн Сиркус по Фоксглоув-стрит, услышал неподалеку шум падающего тела. Включив электрический фонарик, Берт мгновенно побежал на шум. Но, увы! Его поспешность лишь спугнула маньяка. Констебль понял это, увидев улетающего со всех ног мужчину от лежащего на тротуаре темного неподвижного тела. Тем не менее этот факт лишь подстегнул Берта. Обстоятельства предоставляли ему уникальный случай отличиться, и он намеревался воспользоваться им! Пустившись со всех ног вдогонку за беглецом, одновременно он поднес одной рукой свисток, а другой принялся лихорадочно искать пистолет.

Но, наверное, так уж было предназначено судьбой, что Альфреду Берту никогда не стать сержантом. В том месте, где Фоксглоув-стрит сворачивает вправо, к Хиллери-роуд, он столкнулся со своим невезением в облике безобидного прохожего, врезавшись в того головой. За те секунды, которые понадобились Берту, чтобы вновь встать на ноги, убийца успел раствориться в тумане.

Двадцать минут спустя констебль Уидерз, идя вдоль парка Ворм-холт, в свою очередь обнаружил еще теплый труп. Жертвой оказалась пожилая дама в рыжем парике, которая, судя по ее судорожно сжатым рукам, умирая, прижимала к груди теперь уже исчезнувшую дамскую сумочку.

То ли мистер Смит решил отплатить за испытанный им страх быть пойманным с поличным, то ли одного убийства ему было недостаточно, чтобы «отплатить», но во всяком случае, в этот вечер он совершил два убийства.

Испытав к себе подобное пренебрежение, Скотланд-Ярд решил провести очередную конференцию. На нее

собралось не меньше десяти различных шишек, четверо из которых затем с поспешностью осужденных отправились к премьер-министру, сэру Луэрду Хьюзу.

Таким образом мистер Смит превратился в национальное бедствие. Отмечалось, что если вовремя не пресечь его деятельность, то он доведет до безумия весь Лондон и, что еще страшнее — поставит под сомнение превосходство английской полиции.

Сэр Луэрд поинтересовался, когда и как Скотланд-Ярд намерен положить конец «подвигам» мистера Смита. Сэр Кристофер Хант, префект полиции, вкратце изложил в чем состоят предпринятые полицией меры. Однако сэр Луэрд не без оснований посчитал, что этих мер недостаточно, чему свидетельствовало то, что, несмотря на все принятые меры, убийца продолжает свою преступную деятельность. Сэр Луэрд поинтересовался также, не был ли кто-нибудь из подозреваемых арестован Скотланд-Ярдом. Полковник Хемпторн ответил, что он провел целую дюжину арестов, однако всех подозреваемых пришлось отпустить. Тогда сэр Луэрд поинтересовался, не получил ли Скотланд-Ярд каких-нибудь небезынтересных советов, исходящих от частных лиц. Заместитель комиссара мистер Прайор сообщил, что Скотланд-Ярд получил 1117 советов и что все они были рассмотрены весьма тщательно, а три из них заслужили особого внимания. Затем сэр Луэрд поинтересовался у сэра Кристофера, уж не подумывает ли тот о возможности падения нынешнего кабинета. В ответ последний предложил свою немедленную демиссию. Однако сэр Луэрд тут же поклялся, что он вовсе в этом не нуждается.

В конечном итоге, было решено, что будет обещано от 50 до 2 000 фунтов стерлингов тому, кто сможет предоставить любую информацию, способную радикально помочь в обнаружении или аресте преступника. Кроме того, сэр Луэрд взялся обсудить с военным министром возможность привлечь армейские подразделения для укрепления сил полиции.

После конференции полковник Хемпторн подошел к сэру Сесилу Блейну и, взяв его за руку, как всегда с угрюмым видом поинтересовался:

— Да что это с вами такое, черт возьми? За всю конференцию вы не проронили ни единого слова.

Сэр Сесил с раздражением посмотрел на полковника и наконец взорвался:

— Хотел бы я на вас посмотреть, если бы завтра не моя, а ваша дочь выходила замуж за Смита!

А услужливый Стерджесс решил внести свою лепту и придать своему шефу уверенность в будущем:

— Поверьте мне, сэр, этот мистер Смит слишком уж разошелся. Его погубит его же дерзость.

Однако «премьер» придерживался иного мнения:

— Напротив, Стерджесс! Этот человек опьянен успехом, так что теперь его уже ничто не остановит!

Последующие события доказали эту трагическую правоту.

В момент начала нашего рассказа мистер Смит совершил седьмое убийство и, как обычно, это произошло серым, туманным днем, неизменным спутником города теней.

ГЛАВА I

ГЕНРИ БИЧЕМ СЕРДИТСЯ

Констебль Генри Бичем славился во всем Шордитче своим долготерпением и добрым нравом.

Зная это, вам легче будет понять странно затянувшееся развитие следующей сцены. Если бы все нижеизложенное происходило с кем-то другим, а не с констеблем Бичемом, то закончилось бы оно вдвое быстрее...

Дело было в пять часов утра, 28 января того 193... г. Констебль медленно шел по Квакер-стрит, но неожиданно остановился, как вкопанный. Менее чем в пяти метрах от себя он увидел сидящего верхом на уличном фонаре, будто на какой-то пальме, мужчину, с интересом рассматривающего его.

«Так! — подумал Бичем, оправившись от первоначального шока. — Этот тип, очевидно, в стельку пьян!» Поэтому констебль, как и полагается в таких случаях, отнесся к этому чудачеству снисходительно.

— Эй, вы там! — крикнул Бичем, прибавив шагу. — Что это вы там делаете?..

— Жду епископа Андоверского! — совершенно спокойно ответил незнакомец.

Констебль не любил, чтобы в его присутствии плохо отзывались о служителях культа, однако этот человек, вероятно, пребывал в таком состоянии, что плохо отдавал себе отчет в том, что говорит.

— Ну ладно, это не имеет значения! — решил тогда Бичем. — Спускайтесь вниз! — предложил он и, подумав, примирительным тоном добавил: — Не станет же епископ залазить к вам туда.

Нарушитель порядка, однако, воспринял это приглашение далеко не дружелюбно:

— А кто у вас спрашивает, будет он сюда залазить или нет?! — взвыл он и отхаркнул сочный плевок, который расплющился прямо у ног констебля. — Курноса свинья!

Если бы Бичема просто обозвали свиньей, то он бы это еще как-то стерпел, потому что это выражение стало одним из тех ругательств, вся стилистическая окраска которых со временем стерлась. Но у констебля было одно слабое место — он не выносил никаких намеков относительно своего носа. Поэтому он резко вытянулся — словно шпагу проглотил.

— Я не ослышался, вы сказали курноса свинья? — переспросил он.

— Именно так я и сказал, — подтвердил сидящий на фонаре. — Курноса свинья, — повторил он и нагло добавил: — А вы что, разве не знали раньше, что у вас вместо носа тыква?

«Боже праведный!» — только и смог подумать Бичем. Пришло время действовать.

— Я знаю лишь одно, — строго ответил он, — то, во что превратится ваш собственный нос, если вы немедленно не заткнетесь!

— Ах, вот как?!.. Я заткну тебе горло твоими же зубами, грязный фараон!

Незнакомец отбарабанил все это на одном дыхании, на настоящем кокни. Бичем долго не мог восстановить дыхание, но затем, когда ему это все же удалось, он неторопливо расстегнул верхние пуговицы своего мундира, достал из внутреннего кармана маленький блокнотик в молескиновом переплете и карандашик, который сперва смочил слюной.

Теперь дорого он дал бы за то, чтобы уладить дело полюбовно. Но сейчас об этом нечего было и мечтать.

Вокруг фонаря уже успели собраться человек пять-шесть зевак, смех которых звучал до неприличия громко.

Несмотря ни на что, Бичем решил предоставить сидящему на фонаре хулигану последний шанс.

— Я не ошибся, вы сказали: «грязный полицейский»? — недоверчиво переспросил он, как человек, готовый смириться с грубым презрением.

— Пусть Господь проклянет и уничтожит твои кровавые глаза! Именно так я и сказал!

Из ярко-розового, каким оно было обычно, лицо Бичема стало фиолетовым. Нет, такое уж точно невозможно было стерпеть!

Положив свой блокнотик с карандашом на место, констебль взялся обеими руками за столб, делая вид, что собирается вскарабкаться на него, как на гладкий ярмарочный шест с призом на верхушке.

Он тут же схитрил и, неожиданно вытянув руки вверх, цепко схватил незнакомца за ногу и потянул к себе. Тот, застигнутый врасплох стремительной атакой, сперва чуть было не свалился вниз, но затем, придя в себя, начал что было сил лупить своей свободной ногой по рукам констебля, осыпая его отборными ругательствами.

Бичем вздохнул: придется прибегать к крайним мерам. Взяв в губы свисток, он дунул в него с такой силой, словно был самим Эолом — богом ветров.

Нарушитель по дороге в полицейский участок, несмотря на то, что его с обеих сторон поддерживали констебли, — Бичем и Джарвис, раз десять чуть было не растянулся на тротуаре. Однако, стоило ему только переступить порог полицейского участка, как он тут же, словно по мановению волшебной палочки, совершенно протрезвел.

— Спасибо вам, друзья мои! — сказал он с некоторым, даже покровительственным видом и еще до того, как сержант Гилфойл успел взгромоздиться на высокий табурет, чтобы начать допрос, как обычно с установления личности. — Буду вам крайне благодарен, если вы, не медля ни секунды, наберете номер 12-12, Уайтхолл.

Это был номер телефона Скотланд-Ярда! Сержант обменялся со своими подчиненными многозначительными взглядами.

— О, Господи! — воскликнул Джарвис, начиная расстегивать свой китель. — Наших с констеблем показаний вполне достаточно, чтобы предъявить вам обвинение в нанесении оскорбления мундиру!

Незнакомца тем не менее это отнюдь не испугало: — Послушайте, Джарвис! А я-то думал, что у лондонской полиции хорошая память на лица.

И тут вдруг раздался удивленный возглас Бичема.

— Ба! Да это же Тоби Марш!

— Да, собственной персоной, — ответил тот, кланяясь. — Я понимаю, что усы несколько меняют мою внешность. Ну теперь-то вы согласны позвонить туда, куда я вас прошу?

И все же Джарвис, все еще ощущавший на своей правой ноге следы ударов, нанесенных ему по дороге задержанным, вовсе не намеревался так просто отказать себе в реванше, на который он рассчитывал.

— Зайдите-ка для начала сюда, Марш! — сказал он, открывая дверь камеры. — А там видно будет!

На что Тоби Марш отрицательно покачал головой:

— Боюсь, Джарвис, что «потом» уже не наступит!

И хотя Тоби Марш не сделал ни малейшего движения, между его пальцами молнией сверкнуло длинное лезвие ножа с черной рукояткой.

— При малейшем неосторожном движении вы станете мишенью, Дейзи. И знайте, что в моем левом рукаве есть еще две такие игрушки.

Обомлев, полицейские опешили — ведь Тоби Марш слыл самым ловким метателем ножей во всей Англии.

— Уберите это! — буркнул, наконец, сержант. — А что вам нужно от шпииков?

Тоби Марш посмотрел на свои ногти:

— Я хочу подкинуть им один адресок... Адресок мистера Смита!

Четверть часа спустя в полицейский участок вошли двое мужчин в непромокаемых плащах, по которым ручьями стекала вода. Одним был старший офицер Стрикленд, а вторым — инспектор Мордонт — нескладный, большого роста рыжий парень.

— Добрый вечер, Марш! — поздоровался Стрикленд. — Говорят, вы нанесли констеблям оскорбление при исполнении служебных обязанностей!

— И если бы вы только слышали какие! — ответил Тоби Марш. — Я выдал им весь свой репертуар.

— В таком случае должен вас предупредить, что...

— Знаю, знаю! Сержант Гилфойл дал мне уже столько предупреждений, сколько я не получал за последние десять лет... Как вы полагаете, меня ожидает строгое наказание?

Стрикленд пожал плечами:

— Вы же знаете, сколько за это полагается. А принимая во внимание ваше прошлое, нужно будет почесть за счастье, если судья не удвоит вам срок.

Странная вещь — подобная перспектива вместо того, чтобы огорчить задержанного, похоже, напротив, принесла ему огромное удовлетворение.

— Хорошо! — сказал он, потирая руки. — Ну тогда я спокоен. Ведь в тюрьме мистеру Смиту до меня не добраться.

— Так вот вы для чего... — начал было Стрикленд, но Марш перебил его:

— Совершенно верно! Вы только представьте себе, что было бы, если бы я напрямик направился к вам, в Скотланд-Ярд! На следующий же день любой младенец узнал бы имя человека, выдавшего мистера Смита. Мои фотографии красовались бы на первых страницах газет, словом, мне не оставалось бы ничего иного, как распрощаться с этим миром!

Стрикленд тут же наклонился к Маршу:

— Вы что же, выходит, не уверены в том, что ваши сведения дадут нам возможность сегодня же арестовать мистера Смита?

— Вообще-то они должны были бы дать вам такой шанс...

Но тут Тоби Марш внезапно заволновался:

— Надеюсь, вы не будете торговаться со мной относительно суммы вознаграждения? Две тысячи фунтов стерлингов наличными. Вот мои условия.

Инспектор Мордонт, который прибыл в участок для стенографирования заявления задержанного, сгорал от нетерпения. Что же касается старшего офицера, то он, напротив, по своему обыкновению, казался мало заинтересованным.

— Полиция, — сказал он, слово в слово цитируя отрывок из расклеенных по всему городу ярко-красных

афиш, — сама определит важность доставленных вами сведений и ту сумму, которую они заслуживают. А теперь, мистер Марш, если вы предпочитаете заманивать факты, способные помочь арестовать преступника, будете рассматриваться как соучастник преступления.

Тоби Марш вульгарно захохотал.

— Ну ладно!.. Если вы думаете, что я действительно рассчитывал получить мои две тысячи, то можете обвинить меня в краже шпиля Клеопатры...

Он явно поборол в себе последние сомнения.

— Вы готовы, Мордонт? — поинтересовался Стрикленд.

— Готов, — ответил Мордонт.

Тоби Марш с любопытством глянул на них, затем, откинувшись на спинку стула и заложив большие пальцы в пройму жилета, начал свой рассказ:

— Полагаю, излишне будет вам напомнить, джентльмены, что свое последнее преступление мистер Смит совершил не далее как позавчера около семи часов вечера на Саттон-стрит? Ну ладно. Так вот, в тот вечер я шел по площади Сохо, как вдруг двое мужчин едва было не раздавили мне ноги. Они шли друг за другом, но тот, что шел впереди, похоже, не знал, что кто-то следует за ним по пятам. И это не удивительно, потому что тот второй двигался практически бесшумно, словно призрак.

— Минуточку! — перебил его Стрикленд. — А вам удалось разглядеть его лицо?

Тоби Марш отрицательно покачал головой:

— Нет, сэр. Ведь он был одет в длинный водонепроницаемый плащ с поднятым воротником, который закрывал нижнюю часть лица, ну а туман позаботился о том, чтобы скрыть все остальное.

— Хорошо. Ну и что же было дальше?

— Вначале я какое-то время, словно дурак, простоял на месте. «Ну и что удивительного в том, — сказал я себе, — что два типа идут одной дорогой и у одного из них обувь с резиновой подошвой». И все же я решил проследить за ними обоими. Но, увы! Было уже слишком поздно. Едва я успел сделать пять шагов, как услышал шум, похожий на шум падающего тела — тот самый пресловутый шум так хорошо описанный констеб-

лем Альфредом Бартом. В ту же секунду у меня словно крылья выросли! На цыпочках я побежал вдоль домов и мне повезло снова увидеть того типа прежде, чем он успел исчезнуть в тумане. Если до того у меня еще ли сохранились какие-то сомнения относительно его личности, то при виде трупа они мигом исчезли...

Тоби Марш выдержал паузу, чтобы насладиться эффектом, который произвел его рассказ.

Сержант Гилфойл вполголоса ругался, а инспектор Мордонт с лихорадочной поспешностью стенографировал показания.

— И вашей первой мыслью было, конечно же, — пробурчал Стрикленд, — позвать на помощь?

Тоби Марш недовольно посмотрел на него. Он не любил, чтобы его мысли читались столь ясно.

— Конечно же! — ответил он столь же неуверенно, как и его собеседник. — Но ведь он-то был вооружен, а я — нет! Ну, тогда я решил, что лучше, что я могу сделать — это проследить за ним, не выдавая своего присутствия. А если бы я позвал на помощь, то он бы в очередной раз скрылся в тумане!.. Мистер Смит, а это был именно он, сперва пошел по Иарин Кросс-роуд и Каролин-стрит. Он часто оглядывался, но я шел за ним на достаточном расстоянии так, что мой едва различимый в тумане силуэт не мог возбудить его подозрения. На площади Бедфорд он остановился, как бы раздумывая, в какую сторону ему свернуть. Сперва он пошел по направлению к Британскому музею, но затем неожиданно развернулся и пошел в обратную сторону. Я едва успел укрыться под аркой. Он обошел музей кругом по Блумсбери-стрит, Грейт-Рассел и Саутхемптон-роуд. Быть может, он не хотел идти домой сразу? Наконец, когда мы дошли до больницы Александра, я внезапно потерял его из виду. «Так, — подумал я, беря себя в руки, — свернуть он мог только на площадь Рассела!»

— Ну и? — поспешил вставить Стрикленд.

— Ну так что, стоит эта информация двух тысяч фунтов? — с победным видом спросил рассказчик. — **Убийца проживает в двадцать первом номере!**

Мордонт и сержант Гилфойл в один голос выруга-



лись. Если только, Тоби Марш не ошибается. **Мистер Смит** у них в руках!

Что же касается Стрикленда, то он не проронил ни звука. И вовсе не потому, что был удивлен тем, что наконец-то появился свидетель преступления, совершенного мистером Смитом. Он и так знал, что рано или поздно это случится.

Сейчас нужно быть выяснить, когда же это произошло? Позавчера, как утверждал задержанный, или же раньше, например, в тот вечер 24 декабря, когда констебль Барт поднял на ноги целый квартал, заставив всякого прохожего стать на время детективом? Старший офицер достаточно хорошо знал Тоби Марша. Он мог продать свое молчание мистеру Смиту, прежде чем обратиться в полицию. В таком случае, сведения, которые могли быть бесценными месяц тому назад, сегодня и гроша ломаного не стоили.

— Будьте откровенны, — сказал, наконец, Стрикленд. — Скажите, почему вы не пришли к нам в тот же день?

— А вам когда-нибудь приходилось испытывать страх? — поинтересовался авантюрист, доставая из кармана помятую пачку сигарет. А вот мне приходилось! Узнав тайну мистера Смита, я хотел только одного — вернуться домой и забиться в самый дальний угол. Наверное, я и сегодня все еще сидел бы в своем углу, если бы не две тысячи фунтов, — закончил он с дрожью в голосе.

— Хорошо! — сказал Стрикленд, встав со своего места. — Надеюсь, что для вашего же блага все сказанное вами — правда, и нам наконец удастся найти мистера Смита в его гнездышке... Мордонт, позвоните в Центральный штаб полиции и предупредите Мильруа о том, чтобы по истечении часа вокруг площади Рассела был выставлен кордон полицейских!

Оба детектива уже надели свои плащи и направлялись к выходу, как вдруг их остановил скромный кашель Тоби Марша:

— Кстати, сэр... боюсь, я упустил одну немаловажную деталь...

Стрикленд, хотя и не был полностью спокоен, все же ощутил смутную тревогу.



— Вот как, — буркнул он. — Ну, что там еще?
— Отдам вам ее всего за сотню! — расхохотался
Тоби Марш. — В двадцать первом номере по площади
Рассела находится семейный пансион!

ГЛАВА II

ПЛОЩАДЬ РАССЕЛА, НОМЕР 21

Миссис Валери Хобсон, надев юбку из сиреневой тафты, подошла к окну и еще раз взглянула на еще спящую в утренней тиши площадь Рассела. Тусклый свет фонарей говорил о том, что день обещает быть туманным, а следовательно, доктор Хайд сегодня и рта не раскроет, а мистер Андреев, напротив, наполнит дом своим звучным смехом.

Миссис Хобсон закончила свой туалет, застелила постель и вышла из комнаты под шелковистый шорох своей одежды. Она всегда вставала в шесть утра, чтобы открыть все ящики на кухне, обсудить с кухаркой меню и поторопить горничную.

Лестничная клетка была темной, на ней было тихо и от нее, словно от колодца, веяло холодком. Однако, хотя миссис Хобсон и любила рассуждать о хрупкости и впечатлительности женщин, ее несколько не страшили ни темнота, ни тишина!

— Доброе утро, Дафна! — сказала она, входя в кухню и звеня связкой ключей. — А где Мэри?

— Доброе утро, мэм. Она еще спит, мэм. Эту молодежь даже волынщики не в силах разбудить!

Однако подобный аргумент явно не произвел на миссис Хобсон никакого впечатления, поскольку она тут же направилась к двери со словами:

— Ничего, зато это в моих силах!.. Кстати, Дафна, вы ничего не слышали сегодня ночью?

— А что такое произошло сегодня ночью?

— Около двух часов кто-то спустился вниз по лестнице, а вернулся лишь полтора часа спустя... Мне бы очень хотелось узнать, кто это был!

— Вероятно, доктор Хайд или же мистер Коллинз.



Он все время жалуется на то, что до самого рассвета не может глаз сомкнуть.

Когда миссис Хобсон была уже на пороге, кухарка взволнованно воскликнула:

— Мэм! У нас не осталось больше копченой рыбы, и я не знаю, что приготовить на завтрак. Как вы посмотрите на то, если я испеку пирог с почками?

Однако миссис Хобсон не слушала ее, а обеими руками подняв свои юбки, взбиралась вверх по лестнице. Она шла быстро, ставя ногу посреди ступеньки, стараясь не разбудить жильцов. Однако на площадке третьего этажа, перед дверью мистера Андреева, она замедлила шаг. Аромат крепкого табака чувствовался на лестнице.

«Должно быть, он опять полночи курил и заснул с закрытым окном», — подумала миссис Хобсон.

Ее рассуждения на том и остановились, хотя и привели к выводу, который было не обязательно произносить вслух, чтобы согреть ее сердце:

«Как ему нужна была бы женщина, понимающая его!»

Наклонившись, она взяла стоящие перед дверью туфли (эти туфли миссис Хобсон чистила всегда собственноручно), а потом продолжила свой путь к мансарде, где спала Мэри.

Горничная лежала лицом к стене, укрывшись одеялом до ушей, так что виднелась лишь ее светлая копна волос. Открыв слуховое окно, миссис Хобсон уже было протянула руку к кровати, как вдруг ее внимание привлекла стоящая на туалетном столике, на самом почетном месте, между расческой с недостающими зубьями и шкатулкой, выложенной ракушками, фотография. На фотографии был изображен по праздничному одетый молодой человек, стоящий с гордым видом на фоне французского сада.

— Доброе утро, мэм, — раздался в этот момент хриплый ото сна голос. — Я, наверное, не услышала свой будильник...

С пылающими щеками миссис Хобсон повернулась к кровати:

— Это что еще такое? — спросила она.

— Где?.. А, это!.. Это мой жених, мэм...

— И как давно он стал вашим женихом?

— Четыре дня тому назад. Я хотела сообщить вам об этом, но...

— Но забыли.

Голос миссис Хобсон заметно смягчился:

— Он выглядит довольно славным малым.

— Да, мэм. Славным и красивым, как видите! От него все девчонки без ума!

Поставив фотографию на место, миссис Хобсон взяла туфли мистера Андреева, которые она поставила рядом с «Сувениром из Брайтона».

— Ну, ладно, Мэри, хватит! — уже строго произнесла она. — Даю вам десять минут на то, чтобы вы встали и оделись.

К семи часам утра пансионеры, которые считались ранними пташками, уже начинали просыпаться, а к восьми по всему пансиону разносился аппетитный запах жареного бекона.

Первым, а точнее первой, к завтраку вышла мисс Паутер. Она была одета в твидовую юбку, пуловер и туфли на плоской подошве. Лицо ее всегда было открытым, словно она представляла собой тот тип современной молодой девушки, для которой работа — это спорт.

— Доброе утро, миссис Хобсон! — весело поздоровалась она. — Поднимитесь, пожалуйста, наверх. Там действительно требуется ваше присутствие.

Миссис Хобсон, по правде говоря, недолюбливала мисс Паутер. Миссис Хобсон была убеждена, что девушкой движет более рассудок, нежели сердце, да и к тому же она не могла не видеть в ней соперницу.

— Вот как? — ответила она, — нисколько не торопясь бежать наверх. — И кому же оно там требуется?

— Миссис Крабтри и майору Фэрчайлду. Первая находится в ванной и не хочет оттуда выходить, а второй под дверьми ванной и хочет туда войти. Кроме того, он сквернословит, как настоящий язычник!

Однако эта мрачная картина, похоже, не произвела на миссис Хобсон должного впечатления:

— Я не стану вмешиваться в это дело. Миссис Крабтри вполне может постоять за себя сама.

Затем она задала вопрос, мучивший ее с самого утра:

— Это случайно не вы вставали сегодня среди ночи?

— Конечно же не я! — ответила мисс Паутер. — Я не знаю лучшего снотворного нежели «Статистические данные к послевоенной экономической истории» Дж. К. Брауна. А поскольку вчера перед сном я прочла целых три страницы...

Миссис Хобсон нахмурилась:

— Должна ли я это понимать так, что вы заснули, не выключив свет?..

— Да, именно так. Но вы не беспокойтесь. Мое врожденное чувство экономии придало мне сил встать десять минут спустя и потушить его... А! Ну вот и мистер Крабтри! Так кто же, в конечном счете, одержал победу?

Мистер Крабтри слыл человеком скромным и «скрытным». По мнению майора Фэрчайлда, он полностью находился под каблуком своей супруги. Несмотря на лысину и гладковыбритое лицо, мистер Крабтри чем-то напоминал гнома, которого похитили из его родного леса.

— Доброе утро, миссис Хобсон! Доброе утро, мисс Паутер! — сказал он и поспешил к своему месту.

— Так кто же там победил? — настаивала мисс Паутер. — Вы ведь так и не ответили.

— Ах, да! Извините меня... Майору пришлось снять осаду.

— Я так и думала! — ликующе сказала мисс Паутер. — Кстати, что вы думаете о моей последней находке, миссис Хобсон?.. Пишите без ошибок! Пишите только ручкой фирмы Котли!

Дело в том, что мисс Паутер работала в рекламном отделе I.V.C. — Островной радиовещательной корпорации — и ежедневно предоставляла на суд окружающих свои новые рекламные призывы.

Миссис Хобсон не успела ей ответить, поскольку в этот момент в столовую вошли еще два человека: доктор Хайд и мистер Коллинз. Первый был высокого роста и прихрамывал. С первого же взгляда было видно, что это человек мрачного характера и мизантроп. Второй

был ростом поменьше, круглолицый и улыбка, казалось, никогда не сходила с его лица. Все они поздоровались друг с другом и разговор сам по себе зашел на общие темы.

Впрочем, вновь прибывшие почти не участвовали в беседе, поскольку один изъяснялся лишь односложными словами, а второму мешало говорить его заикание.

— Уже двадцать минут девятого! — воскликнула неожиданно мисс Паутер. — Мне пора!

Когда входная дверь за ней захлопнулась, с лестницы донесся какой-то сильный шум, после чего в столовой появилось еще три новых лица. Первой вошла энергичная, небольшого роста миссис Крабтри. Следом за ней появился высокого роста худощавый мужчина с гордым профилем, светлыми глазами и серебриющимися на висках черными волосами. Шествие замыкал полнокровный и краснолицый майор Фэрчайлд.

— А вот и мистер Андреев! — воскликнула, вскакивая с места миссис Хобсон. — С чего вы желаете начать завтрак, с овсяной каши или же?..

Мистер Андреев, взяв руку хозяйки словно он брал какую-то драгоценную хрупкую вещь, поднес ее к губам со словами:

— Нет, миссис Хобсон, я не хочу овсяной каши, но умоляю вас не беспокоиться! Я сам скажу Мэри, что мне подать.

Мистер Андреев никогда не хвастался ни дальним, ни ближним родством с царской фамилией и никогда не требовал, чтобы ему готовили борщ. Когда же он напевал какую-нибудь мелодию, то все знали, что это не «Очи черные». Во всем же остальном он был русским до мозга костей. Выйдя в коридор, он хлопнул в ладоши, подзывая Мэри, сказал ей что-то, поглаживая подбородку, а затем вернулся в столовую и занял свое место по правую руку от хозяйки. И все это он проделал с грацией танцора, столь восхищающей женщин.

— А не приезжает ли сегодня наш новый пансионер? — поинтересовалась в этот момент миссис Крабтри.

Миссис Хобсон согласно кивнула головой:

— Я жду его с минуты на минуту.

— Вы, кажется, говорили, что он француз? — Обо-
жаю французов!

Тут доктор Хайд нарушил свое молчание:

— Сомневаюсь, чтобы этот сноб мог вызвать ваше обожание! Ему уже перевалило за пятьдесят и он, похоже, намерен заниматься какими-то научными исследованиями в Британском музее. Так что не думаю, чтобы он был похож на соблазнителя.

Миссис Крабтри заерзала на своем стуле:

— Я просто не осмеливаюсь вникать в смысл ваших слов, доктор Хайд! И не забывайте, что вы разговариваете с порядочной женщиной!

Вот этого уже майор Фэрчайлд не в силах был пропустить мимо ушей:

— Да-а-а, знавал я несколько порядочных женщин! — сказал он, резко ставя чашку на блюдце. — Что правда, ни одна из них не сидела в ванной по часу!

Вначале миссис Крабтри чуть было не задохнулась от возмущения, однако вскоре, справившись с собой, коварно парировала:

— Но для того, чтобы это узнать вам, очевидно, пришлось последить за ними... так же, как и сегодня утром вы следили за мной!

— Это я следил?! — взорвался старый офицер. — Скажите еще, что я подглядывал в замочную скважину!

— А я бы, ей-богу, не смогла бы поручиться, что обошлось без этого!

Майор вскочил, отодвигая свой стул и одному Богу было известно, что могло бы произойти, если бы мистер Андреев не взял на себя роль дипломата:

— Знаете, майор, я уже давно мечтал задать вам один вопрос! Вы как-то сказали нам, что стояли гарнизоном в Нагпуре...

Тут все облегченно вздохнули и до конца завтрака уже не было слышно ничего, кроме звона вилок и чашек под аккомпанемент зычного голоса майора.

Еще одна пансионерка — мисс Холланд, воспользовалась моментом и незаметно заняла свое место в конце стола. Мисс Холланд была старой девой, утешающей свою неудавшуюся жизнь сочинением сказок для детских изданий. Кроме того, она еще подбирала всех

бродячих котов, которые, вырастая, бросали ее с одинаковой неблагодарностью.

— Быть может, мне сейчас наконец удастся узнать, кто из вас вставал сегодня среди ночи и полтора часа просидел в гостиной, куря сигареты? — спросила миссис Хобсон, когда майор, проголодавшись, решился прервать свой рассказ, кишущий ядовитыми змеями и бенгальскими тиграми.

Она обвела своим строгим взглядом всех сидевших за столом. Пансионеры были в полном сборе, не считая мисс Паутер, которой уже был задан этот вопрос, и профессора Лала-Пура, редко встававшего раньше десяти часов утра.

Тут раздался заикающийся голос улыбчивого мистера Коллинза:

— П-п-признаю себя виновным! Я д-д-думал, что никого не разбужу!

— Так, значит, это были вы? — холодно переспросила миссис Хобсон. — Ну что ж, можете похвастаться тем, что напугали меня! Я хотела было спуститься вниз, но...

Тут она покраснела и стыдливо добавила:

— ...но я была в ночной рубашке и думала, что вы подниметесь с минуты на минуту. А что это вам вдруг взбрело в голову?

— Из-за с-с-своей одышки я, я н-н-не мог сомкнуть глаз. И вот...

— Но я ведь уже советовала вам, что необходимо делать в подобных случаях! Достаточно лишь приложить холодную мочалку к надчревной области и лечь на живот.

— Я н-н-не могу спать на животе! М-м-мне начинают сниться кошмары!

Однако последнее слово всегда должно было оставаться за миссис Хобсон:

— Это вовсе не оттого, а потому что вы слишком много едите!

— А вот в этом вы несправедливы! — вмешался мистер Андреев. — Когда вы перестанете нам так вкусно готовить, мы станем есть гораздо меньше!

В этот момент во входную дверь кто-то позвонил:

— А вот и мистер Джекил! — сказал доктор Хайд,

предотвратив, таким образом, бытующую в пансионе «Виктория» шутку.

— А мне думается, что это месье Жюли! — сказала миссис Хобсон и пошла открывать.

Из вестибюля донесся голос человека, говорившего хотя и по-английски, но не совсем уверенно.

Прибытие «новичка» всегда и везде ожидается с интересом. Так что, когда в гостиную вошла миссис Хобсон в сопровождении месье Жюли, все взгляды обратились к ним.

— Позвольте мне представить вам моих постояльцев, — сказала она. — Это миссис Крабтри... мисс Холланд, майор Фэрчайлд, мистер Андреев, доктор Хайд, мистер Коллинз, мистер Крабтри...

Месье Жюли поздоровался с каждым из присутствующих в отдельности, но с таким видом, будто бы оплакивал кого-то. У него было каким-то печальным почти все — и бородка с проседью, и жидкие волосы, и выпуклые глаза, и тесноватая одежда.

— Здесь нет мисс Паутер и профессора Лала-Пура, но их вы увидите за обедом! — сказала миссис Хобсон.

Тут месье Жюли счел своим долгом улыбнуться, но от этой улыбки на его лице появилось какое-то отчаяние.

— У него на лице было написано, что ему недолго осталось жить на этом свете, — заявила впоследствии, вечером того же дня, миссис Крабтри, стоя над его трупом.

ГЛАВА III

ОКРУЖЕННЫЙ ДОМ

Примерно в это же время в строго обставленном кабинете сэра Кристофера Ханта, префекта полиции, происходила следующая сцена. По правую руку от сэра Кристофера сидел помощник комиссара Прайор, и оба они с нетерпением слушали рассказ инспектора Стрикленда относительно приключения Тоби Марша.

— Давайте покороче, Стрикленд! — не выдержал вдруг сэр Кристофер. — Что вы, в конечном итоге, узнали нового от этого типа?

— Он утверждает, что позавчера вечером проходил по Сьютон-стрит и что ему удалось выследить мистера Смита, — невозмутимо продолжил свой рассказ Стрикленд.

— До какого же места он его выследил?

— До площади Рассела. А там мистер Смит якобы внезапно исчез... Но Тоби Марш утверждает, что ему все же удалось увидеть, как тот входил в дом номер 21.

Сэр Кристофер с трудом заставил себя усидеть на месте:

— Ну и что же вы предприняли?

— Я попросил сопровождавшего меня инспектора Мордонта позвонить старшему офицеру Мильруа с тем, чтобы тот незамедлительно отправил необходимое количество констеблей для оцепления площади Рассела.

— Значит, в данный момент никто не может ни войти, ни выйти из двадцать первого номера?

— Напротив, сэр. Вы не найдете возле дома ни одного констебля в радиусе двухсот метров.

Помощник комиссара чуть было не вздрогнул от удивления, но вовремя справился с собой.

— Что-то я ничего не понимаю! — буркнул он, и в его голосе невольно послышалась скрытая угроза.

— Не успел инспектор Мордонт отдать это распоряжение, — пустился в объяснения Стрикленд, — как Тоби Марш сообщил нам еще одну крайне важную деталь: двадцать первый номер по площади Рассела — это, оказывается, семейный пансион.

— Проклятье!

— При таком повороте дела я посчитал должным изменить план и дать Мильруа иные указания.

— Минуточку! — перебил его сэр Кристофер. — Вы только скажите мне, находится ли дом под наблюдением в данный момент?

— Да, сэр. Но только за домом наблюдают не констебли, а инспекторы в штатском.

— Вы что же, отдали им приказ не препятствовать никому входить и выходить из дому?

Стрикленд согласно кивнул головой.

— Но это же безумие! — взорвался сэр Кристофер. — Ведь убийца в любую секунду может улизнуть от нас!

Старший офицер, несколько не смутившись, полез в свой карман, достал оттуда какой-то листок и положил его перед сэром Кристофером.

— Это фамилии инспекторов, которым я поручил наблюдать за домом, — спокойно ответил он. — Посмотрите, пожалуйста, и вы сами убедитесь, что на этих людей можно положиться.

Сэр Кристофер в бешенстве швырнул листок:

— Да мне наплевать на их фамилии! Как это так?! У вас появилась уникальная возможность узнать, где обитает преступник, и единственное, что пришло вам в голову, так это установить тайную слежку за его логовом?! Тайную!.. Да вы же в этот момент должны быть там, на месте, и копать в прошлом жильцов вплоть до третьего поколения!..

Стрикленд сделал вид, что собирается встать:

— Ну, раз вы так считаете, сэр...

Стрикленд был до того спокоен и уверен в себе, что сэр Кристофер внезапно утихомирился:

— Послушайте, Стрикленд, вы объясните, наконец, что вы намерены предпринять? Я достаточно хорошо знаю вас, поэтому уверен, что без серьезных на то оснований вы бы не стали так поступать.

— Благодарю за доверие, сэр. Сперва мне, как и вам, тоже захотелось немедленно отправиться на площадь Рассела и устроить всем жильцам допрос по всем правилам. Мне казалось, что мистеру Смиту, даже если это не настоящее, а вымышленное имя убийцы, не удастся долго водить нас за нос. Но потом я подумал и решил, что ни у одного из пансионеров не будет твердого алиби. Вот посудите сами. Первое преступление было совершено 10 ноября прошлого года, а последнее ровно 77 дней спустя. Вы, например, смогли бы мне точно ответить, где вы находились 18 ноября в девять часов вечера?

— Вероятно, нет, — согласился сэр Кристофер. — Но ведь для того, чтобы человек считался формально невиновным в совершении всех остальных преступле-

ний, порою достаточно одного-единственного алиби. А речь идет о цепочке преступлений, совершенных одним и тем же преступником.

— Даже если предположить, что мы снимем подозрение с половины пансионеров, хотя и это еще под вопросом, то как нам удастся выявить убийцу среди второй половины?

— Нужно искать оружие, которым были совершены преступления. Преступник, должно быть, хранит его в своей комнате.

— Нет, сэр. Такой человек не допустил бы подобной оплошности. Я скорее склонен думать, что свое оружие он хранит в таком месте, к которому имеют доступ все пансионеры.

— Скажите, а этот Тоби Марш не сообщил, в котором именно часу мистер Смит входил в дом?

— Он сказал, что это произошло приблизительно в 19.30.

В ответ сэр Кристофер лишь что-то буркнул. Стрикленд тем временем продолжал:

— Я понял вашу мысль, сэр. Вы хотите спросить, нельзя ли узнать, в котором часу обитатели пансиона возвращались позавчера? Но ведь это время ужина, и почти все пансионеры возвращаются домой к этому часу.

— А почему вы так уверены, что мистер Смит живет именно в этом доме, а не пришел, например, повидать друга? — спросил, в свою очередь, помощник комиссара.

— Можно со всей уверенностью заявлять, что он живет именно там, поскольку Тоби Марш видел, как он открывал дверь своим ключом.

Поскольку начальство примолкло, Стрикленд продолжал:

— Вот в этом-то и заключается недостаток прямого метода. Если он не позволит нам обнаружить преступника сразу же, то мы, прежде всего, вспугнем его, и это заставит его притихнуть и затаиться.

— Ну что ж, это уж было бы неплохо! — высказался помощник комиссара.

— Да... но этого мало! — пробурчал сэр Кристо-

фер. — Нам, прежде всего, необходимо найти преступника!

Стрикленд поддержал его:

— Если ему удастся ускользнуть от нас сейчас, то в один прекрасный день он покинет пансион «Виктория» и возобновит свою преступную деятельность где-нибудь в другом месте. А было бы гораздо лучше, если бы...

Он внезапно замолчал, сам испугавшись того, что намеревался произнести. Однако собеседники поняли его, это было видно по их серьезному виду и все же ни один из них не стал протестовать.

— Ознакомьте-ка нас со своим планом действий, — попросил сэр Кристофер.

Стрикленд глубоко вздохнул:

— Плана как такового, у меня, к сожалению, нет. Ведь если мы даже сможем вычислить мистера Смита, нам все равно не удастся арестовать его за отсутствием доказательств.

Старший офицер понизил голос.

— Мне кажется, лучше подождать.

Сэр Кристофер ненавидел слово «ждать».

— Ждать?! — закричал он. — Так чего же нам ждать?!

— Мистер Смит, как и любой другой преступник, рано или поздно допустит ошибку, — продолжил Стрикленд все тем же тихим, как бы пристыженным голосом. — Но главное — он ни в коем случае не должен знать, что за ним наблюдают!

В кабинете снова воцарилось молчание, внезапно прерванное сэром Кристофером:

— Исключено! Совершенно исключено!.. Я не допущу, чтобы кто-либо мог сказать, будто бы одному преступнику удалось победить весь Скотланд-Ярд! Если вы не в состоянии предложить ничего более действенного, тогда будем действовать напрямик! А вы как считаете, Прайор?

Помощник комиссара заерзал на своем стуле, явно не зная, что ответить:

— Я считаю... Мне кажется, что нам нужно иметь в этом пансионе своего человека.

Сэр Кристофер ударил кулаками по ручкам кресла:

— Ну наконец-то вы попали в десятку! А вам, Стрикленд, это не приходило в голову?

Старший офицер выдавил на своем лице подобие улыбки:

— Приходило, сэр. Это весьма соблазнительно, но, боюсь, невозможно.

— Почему же это?

— Потому что, подослав в пансион своего человека, мы тем самым вызовем подозрения у мистера Смита!

— Ну это еще как сказать.

— Боюсь, что именно так оно и будет. Не забывайте, что дом окружен и мои люди получили указание ходить по пятам за каждым выходящим из дому пансионером, куда бы он ни шел. Несмотря на то, что все выбранные мною инспекторы — доки в слезке — я это признаю, тем не менее мистер Смит очень скоро обнаружит, что за ним следят. Возможно, он не сразу придаст этому значение, поскольку я ежедневно буду менять своих людей, но тогда появление нового пансионера развеет его последние сомнения.

— Да, это верно! — с досадой сказал сэр Кристофер. — Что вы скажете на это, Прайор?

— А вот что: кто вам говорит, что речь идет о новом пансионере? Ведь можно завербовать уже живущего там человека!

— А кого именно?

— Давайте выберем!

Сэр Кристофер вопросительно глянул на Стрикленда.

— Хорошая мысль, — признал старший офицер. — Но неужели вы думаете, что женщина сможет согласиться играть такую небезопасную роль?

— Но нам не обязательно обращаться за помощью именно к женщине. И среди мужчин можно найти такого, который по той или иной причине не может быть мистером Смитом. Нам нужно только вычислить.

— Это дело случая, господа! Прежде всего, любой, живущий в пансионе мужчина, теоретически может

быть мистером Смитом, несмотря ни на какие внешние признаки.

— Первое, что нужно сделать, — вмешался сэр Кристофер, обращаясь к Стрикленду, — это составить список всех живущих в пансионе и...

— Вот этот список, сэр. Сегодня утром я дал поручение одному констеблю под предлогом переписи населения опросить миссис Хобсон, хозяйку пансиона, относительно ее жильцов.

— Bravo! — воскликнул сэр Кристофер, посветлев лицом.

Разложив список на своем бюроаре, он жестом пригласил своих собеседников сесть поближе.

— А что представляет собой сама эта миссис Хобсон?

— По словам Готкинса, она довольно властная женщина, высокого роста, крупная, энергичная. Вы понимаете, какой тип женщин я имею в виду?

Сэр Кристофер поморщился. Он прекрасно понимал, что имеет в виду Стрикленд, поскольку это описание вполне подходило и самой лэди Кристофер Хант.

— Миссис и мистер Крабтри., — начал читать он список. — Кстати, а вы не задумывались над вопросом: женат ли мистер Смит?

Ни помощник комиссара, ни старший офицер конечно же не задумывались над этим вопросом.

— Мистер Андреев., — продолжил чтение списка сэр Кристофер. — Ну это, наверняка какой-нибудь русский?

— Да., а помните ли вы, как после того убийства, совершенного в канун Рождества, люди поговаривали о том, что мистер Смит явно не англичанин...

— Иначе говоря, этот Андреев — подозреваемый номер один! А каков он из себя, вероятно, высокого роста, сильный?

— Думаю, что да, сэр.

Сэр Кристофер вернулся к своему списку:

— Доктор Хайд... Тоже, наверняка, подозрительная личность?..

— Да, сэр. Доктор Хайд уже многие годы не занимался врачебной практикой и, похоже, никто не знает, откуда он взялся.

— Майор Фэрчайлд... Очевидно, бывший колониальный офицер, служивший в Индии, да?

Сэра Кристофера уже начало забавлять это разгадывание:

— Я не думаю, чтобы он мог быть тем, кого мы ищем!.. Остаются мистер Коллинз и профессор Лала-Пур. А кто он такой, этот Лала-Пур?

— Да так, один индус — предсказатель. Его имя еще несколько недель тому назад красовалось на афишах театра «Коллизей». Что же касается мистера Коллинза, то он, кажется, коммивояжер по продаже радиоприемников.

Сэр Кристофер подчеркнул имена мистера Крабтри, мистера Андреева и доктора Хайда.

— Я, — заявил он, — решительно не вижу ни одной кандидатуры, кроме женщин и майора Фэрчайлда, кто мог бы...

— Прошу прощения, сэр, — прервал его Стрикленд. — В списке не хватает еще одного имени, потому что миссис Хобсон сегодня утром ждет еще одного пансионера.

— А кто он такой?

— Некий месье Жюли, француз.

Сэр Кристофер и помощник комиссара обменялись красноречивыми взглядами.

— Не нужно больше ничего искать! — решил первый. — Поговорите с месье Жюли, Стрикленд. Это и есть тот человек, который нам нужен.

— Вы полагаете, сэр? Дело в том, что месье Жюли — преподаватель египтологии во Французском колледже.

— Тем более!

Старший офицер хотел было выйти, но сэр Кристофер остановил его.

— Вы правы, Стрикленд! — добродушно согласился он. — Косвенный метод лучше. Однако предупредите своих людей, чтобы они держались как можно незаметнее.

— Не беспокойтесь, сэр, — ответил Стрикленд, — они не подведут.

А тем временем в пансионе «Виктория» некий че-

ловек подошел к окну читального зала. Осторожно раздвинув двумя пальцами штору, он посмотрел на улицу и застыл в неподвижности.

«Уже!», — подумал он.

На улице стоял тот самый полицейский, который за два часа до того под каким-то до глупости смехотворным предлогом расспрашивал миссис Хобсон относительно ее жильцов. А по скверу тем временем с наигранной непринужденностью прогуливались люди в штатском.

Кроме того, этот человек знал, что предчувствие его никогда не обманывает.

За домом явно велось наблюдение.

ГЛАВА IV

ПРАВИТЕЛИ ФИВ

В жизни очень трудно найти хотя бы двух человек, одинаково воспринимающих какую-нибудь страну или город, и Лондон в этом случае, не исключение... Для одних Лондон — это площадь Пиккадилли с ее букетом светящихся вывесок, для других — это дом друзей в Блумсбери, для третьих — Роттен-роуд с его амазонками, Челси с его продуваемыми всеми ветрами набережными.

Для месье Жюли Лондон — символизировал Британский музей. Честно говоря, когда он решил пересечь Ла-Манш, то больше всего его влек к себе древний Египет, нежели столица Англии.

...Едва успев проглотить последний кусок пудинга, месье Жюли спросил у миссис Хобсон, в какой стороне находится Грейт Рассел-стрит и так поспешно ухватился за ручку двери, словно боялся опоздать на поезд. Еще из Парижа он написал хранителю письмо, чтобы уже тут, не теряя ни одного дня, сразу же приступить к изучению интересующих его документов.

Зайдя в музей, он хотел было осмотреть экспозицию, однако решил отложить просмотр до того времени, пока не изучит труды Дж. К. Старк-Хардинга! Побежав в библиотеку, он быстро заполнил формуляр и

устроился между пожилым господином, решившим отдохнуть после обеда, и молодой парочкой, белокурые головки которых склонились над томиком Шелли.

Он был слишком увлечен для того, чтобы обратить хоть какое-то внимание на молодого человека, вошедшего следом за ним. Последний пренебрег предоставленными в его распоряжение двумя миллионами томов и вынул из кармана детективный роман.

Читальный зал закрывался в шесть часов. Без одной минуты шесть месье Жюли с большим сожалением расстался со своей книгой «Фараон Мейхамон и хетты» и вышел из музея.

Не успел он пройти по улице и десяти шагов, как вдруг чья-то рука, рука того самого молодого человека, читавшего детектив, легла ему на плечо:

— Месье Жюли, если не ошибаюсь?.. Инспектор Бирд из Скотланд-Ярда. — Последовала пауза, и инспектор Бирд добавил: — Вынужден попросить вас пройти за мной.

Сперва месье Жюли подумал, что стал жертвой какой-то грубой ошибки и пробормотал:

— Пройти за вами?!.. Куда это? Зачем?..

Но инспектор уже открывал дверцу остановленного им такси.

— Это приказ главного комиссара, — отчеканил он. И поскольку его «клиент» как-то слабо пытался протестовать, добавил: — Вы ведь месье Жюли, профессор Французского колледжа?

— Да, но...

— В таком случае — садитесь.

Профессору пришлось сдаться.

Дорогой они молчали. Инспектор, казалось, погрузился в глубокую задумчивость, хотя на самом деле он ни о чем не думал, но месье Жюли боялся помешать ему своими вопросами. Тем не менее, когда машина остановилась, он заволновался:

— А что от меня хотят? У меня что, документы не в порядке?

Инспектор в ответ лишь отрицательно покачал головой, затем расплатился с таксистом, вышел, даже не глядя, идет ли за ним месье Жюли или нет, и погрузился в темное здание столичной полиции.

Месье Жюли послушно семенил за инспектором. Теперь, очутившись в коридорах неизвестного здания, он бы ни за что на свете не упустил своего проводника.

А тот поначалу поднялся на второй этаж, затем повернул налево, потом направо, потом вновь налево и неожиданно резко остановился перед какой-то дверью, так что месье Жюли чуть было не уткнулся носом в мощную спину инспектора.

Мгновение спустя, после того, как инспектор постучал и услышал короткое приглашение войти, месье Жюли увидел перед собой сидящего в кабинете высокого худощавого мужчину с резкими чертами лица. Увидев профессора, тот встал и учтиво поклонился ему.

— Профессор Жюли, если не ошибаюсь? Присаживайтесь, пожалуйста. Моя фамилия Прайор, я помощник комиссара.

Месье Жюли присел на самый краешек стула.

— Извините, — продолжал Прайор, — что мне пришлось прибегнуть к подобному неучтивому способу, чтобы пригласить вас сюда. Но меня поджимает время, так что мне не до хороших манер!

Прайор сцепил пальцы рук, забросил ногу на ногу и, с интересом рассматривая профессора, неожиданно спросил:

— Вы, конечно же, слышали о мистере Смите?

Месье Жюли широко раскрыл глаза.

— А о каком именно Смите вы говорите? В Лондоне, похоже, проживает не одна тысяча Смитов...

Тогда Роберт Прайор, или же просто для близких Робин, доверительно наклонился к месье Жюли:

— Я говорю о том самом Смите, который за истекшие одиннадцать недель с целью грабежа совершил семь убийств.

— А, об этом! — сказал месье Жюли. — Ну, конечно же, слышал. — Затем он кашлянул и добавил: — Кажется, я что-то читал об этом на днях.

— Ну конечно же читали. Газеты только и пишут об этих преступлениях, которые нам никак не удастся пресечь.

— Насколько я понимаю, это похоже на историю с Джеком Потрошителем? — предположил месье Жюли.

— Да, если хотите. Разница лишь в том, что ми-

стер Смит, вероятно, пребывает в здравом рассудке... Теперь позвольте мне задать вам вопрос напрямик: что бы вы сделали, если бы, скажем, столкнулись с ним на улице, нос к носу?..

— Черт возьми! Я... Мне такая встреча кажется совершенно невозможной. Но думаю, что я...

— Что вы позвали бы на помощь?

Очевидно, месье Жюли не приходило в голову подобное решение, но он ухватился за него, словно за спасительную соломинку.

— Ну конечно же! Я бы немедленно позвал на помощь!

— Ну что ж, это было бы весьма смело с вашей стороны! — отметил помощник комиссара. — Ну а что бы вы сделали, если бы узнали, что живете под одной крышей с мистером Смитом?

— Если бы я?.. Знаете, подобное предположение кажется мне еще более невероятным.

— Ну хорошо, я объясню вам, в чем дело. Предположим, вы живете с ним в одном пансионе, и что тогда?

— Тогда я бы переселился!

Хотя Робин надеялся на иной ответ, он постарался не показать этого.

— Но не хотите ли вы сказать?.. — неожиданно заволновался профессор.

— Именно это я и хочу сказать!

После такого ответа последовала пауза.

— В этом нет абсолютно никаких сомнений. Мистер Смит, как и вы, проживает в двадцать первом номере, на площади Рассела. Его видели входящим туда после того, как он совершил свое последнее преступление.

Вынув из кармана клетчатый носовой платок, месье Жюли вытер проступивший на лбу пот.

— Какой ужас! И надо же мне было из тысяч существующих в Лондоне семейных пансионов выбрать именно этот!

Помощник комиссара позволил себе улыбнуться:

— Верите ли вы в Провидение? Я, к примеру, верю. Потому что вы — единственный человек, который может нам помочь.

— Я?! Вам помочь?!

— Да, и вот каким образом: мы знаем лишь то, что преступник живет в двадцать первом номере на площади Рассела, однако мы не знаем, кто именно скрывается под этим именем. Кроме того, у нас нет доказательств для его ареста. Вот мы и рассчитываем на то, что вы поможете нам раздобыть эти самые доказательства.

— Вы на это рассчитываете?

Помощник комиссара еще ближе наклонился к месье Жюли:

— Понимаете, если бы мы подселили в пансион своего человека, то это бы, несомненно, насторожило преступника. А вот вы — это совсем другое дело. Вы только что приехали из Франции, поэтому вас никто не сможет заподозрить в каких бы то ни было связях со Скотланд-Ярдом. Сэр Кристофер Хант говорит, что вы — тот самый человек, который нам очень и очень нужен!

Из всех чувств, переполнявших месье Жюли, верх взяло чувство возмущения:

— Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом! Я приехал из Парижа специально для того, чтобы закончить монографию «Правители Фив», которая должна стать новой вехой в развитии египтологии!.. А вовсе не для того, чтобы выслеживать убийцу!

— Но мы же не просим, чтобы вы делали что-то для вас непривычное или же опасное. Было бы вполне достаточно, если бы вы просто наблюдали за пансионерами миссис Хобсон и ежедневно информировали нас обо всех жильцах. Вы понимаете, что я имею в виду? Кто и когда ушел, когда вернулся, о чем велась беседа за совместной трапезой и...

— Короче говоря, вы хотите сделать из меня осведомителя?

Подобные слова, похоже, шокировали помощника комиссара.

— Я этого не говорил. Преступления мистера Смита представляют собой социальную опасность, а поэтому никого не могут оставить равнодушным.

В своем страхе месье Жюли пытался черпать смелость и надеялся проявить твердость. Он встал:

— Вы ошибаетесь. Это дело касается исключительно полиции.

Робину пришлось выложить на стол козыри!

— Подумайте, профессор... Неужели я должен напоминать вам о дружеских узах, связывающих наши страны и о той взаимопомощи, которую мы оказываем друг другу вот уже тридцать лет? Неужели вы хотите, чтобы я напомнил вам о том, — на этих словах Прайор сделал ударение, — что вы окажете английской полиции такую услугу, за которую наше правительство обещает не только денежное вознаграждение, но еще собирается отметить ее подобающим образом?..

Последний аргумент, похоже, произвел на месье Жюли приятное впечатление. Он уже видел, как возвращается в колледж героем с петлицей, украшенной ленточкой. Однако, мечты его быстро развеялись.

— Я... Я подумаю! — сказал он. — Я не очень хорошо говорю по-английски и...

— Вы говорите и понимаете по-английски достаточно хорошо для того, чтобы при случае понять смысл фразы, которая могла бы бросить тень подозрения на произносившего ее, что значительно упростит наши поиски. Знайте, что дом окружен полицией. Если... если вы окажетесь в затруднительном положении, к вам тут же придут на помощь, так что вам достаточно будет сказать одно лишь слово, сделать один лишь жест.

Потихоньку пробираясь к двери, месье Жюли неуверенно бормотал:

— Я подумаю, я подумаю... Изучение интересующих меня работ займет не меньше недели, а осмотр экспозиции дня три-четыре, так что я собираюсь уезжать...

Помощник комиссара, в свою очередь, встал с места и, обойдя маленькими шажками стол, словно боясь спугнуть собеседника, сказал:

— Извините за настойчивость, однако мне необходимо знать ваш ответ немедленно... Если за убийцей никто не будет следить, он сможет в любой момент ускользнуть от нас, словно сквозь пальцы провалиться или еще кого-нибудь убить...

— Я подумаю, — напоследок ответил месье Жюли.

Профессор возвращался на такси, обдумывая все только что услышанное. И чем ближе он подъезжал

к площади Рассела, тем меньшей становилась его уверенность.

В вестибюле он случайно столкнулся с миссис Хобсон. Она направлялась на кухню, но месье Жюли остановил ее.

— Весьма сожалею, миссис Хобсон, однако, по обстоятельствам, от меня не зависящим, я вынужден покинуть ваш дом.

— Вот как?! И когда же вы намерены уйти от нас?

— Э-э-э... Сегодня вечером.

Миссис Хобсон просто не поверила своим ушам:

— Вам что-то не понравилось? — живо поинтересовалась она.

— Нет, нет, что вы...

— Тогда, быть может, вам не понравился кто-то из пансионеров?

— Ни в коем случае! — еще более категорично запротестовал месье Жюли и побежал укладывать чемоданы... для своего последнего в жизни путешествия.

ГЛАВА V

ЗА УЖИНОМ

«При появлении принцессы ан-Тюль раздался всеобщий восторженный возглас. Она вся была белоснежной, словно лебедь или маленькое легкое облачко. И лишь ее дуэнья все же нашла повод для критики. «Слишком уж много кружев, принцесса! — произнесла она обиженно. — Слишком уж много!»

Произнеся эти слова, мисс Холленд захлопнула свою ученическую тетрадку, в которой обычно писала днем свои рассказы и подняла свои близорукие глаза. Обычно она интересовалась мнением миссис Хобсон, но сегодня она обратилась к майору Фэрчайлду, чтобы тот оценил ее сочинение. Последний, однако, не торопился высказывать свое отношение к услышанному, и мисс Холленд сама завела беседу:

— Вам что, не понравилось?

Покрутив ус, майор ответил:

— В общем-то понравилось. Правда, лично я не стал бы атаковать армию генерала Кипа по правому флангу, хотя это кому как нравится. Но вот под конец вы рассказываете о вещах совершенно невозможных.

Мисс Холленд недоверчиво взглянула на майора и ответила как бы в свое оправдание:

— Но ведь на то это и сказка, чтобы в ней происходили немыслимые вещи.

— Но в таком случае вы вообще можете писать все что угодно. Почему бы вам, к примеру, не заставить попугая попрыгать через скакалочку?

Но мисс Холленд отрицательно покачала головой и ответила:

— Это бы исказило созданный мною по ходу действия образ.

— Вот как? — удивился майор.

Его это уже начало порядком раздражать:

— Не понимаю, что это может исказить! Если попугай может служить переводчиком, то почему бы ему не попрыгать через скакалочку?! Вот это, по крайней мере, будет смешно.

Однако переубедить мисс Холленд было не так-то и легко:

— Вы действительно так думаете?

— Ну конечно, раз я так говорю!.. Погодите, давайте спросим у кого-нибудь еще.

Майор повернулся, ища подходящего собеседника, однако не увидел никого, кроме доктора Хайда, как всегда погруженного в чтение медицинского словаря Куэна.

Однако сдаваться казалось ему делом недостойным.

— Можно задать вам один вопрос, доктор Хайд? — решительно спросил он. — Вот скажите, вы рассмеялись бы, если бы я рассказал вам историю о попугае, прыгающем через скакалочку?

— Ну это зависит от самой истории, — ответил доктор Хайд, поднимая брови. — А что это, ваше личное воспоминание, привезенное из Нагпура?

Майор судорожными движениями схватился за воротничок, пытаясь его расстегнуть, так что какое-то

время можно было даже опасаться за его самочувствие.

— Хватит острить, доктор Хайд, — сказал он на конец строгим тоном. — Этот попугай — одно из созданий мисс Холленд и я... я...

Но тут, к счастью, его выручил уже второй, созывающий к ужину звонок.

— А ну его ко всем чертям, этого вашего попугая! — сказал он в заключение, испепеляя взглядом несчастную мисс Холленд. — Да пусть он у вас хоть по-турецки говорит!

В столовую со всех сторон начали сходить панионеры: одни выходили из своих теплых комнат, а от других еще веяло уличным холодком.

Вскоре все, кроме месье Жюли и профессора Лала-Пура, оказались в сборе.

— Не знаю, стоит ли нам ждать к ужину месье Жюли... — начала было миссис Хобсон, но не успела закончить свою мысль, потому что в этот момент оба опоздавших вошли в столовую.

Хотя, что касается высокого, худощавого, одетого в безупречного покроя фрак профессора Лала-Пура, у которого, кроме того, лоб был перевязан желтой лентой, то о нем вернее было бы сказать, что он не вошел, а прямо возник. Когда профессор поздоровался, то все увидели, что следом за ним идет маленький и худенький египтолог.

— Куда подевалось мое кольцо с салфеткой? — воскликнула в этот момент мисс Паутер. — Всем оставаться на своих местах, пока не найдется кольцо!

Взгляды всех присутствующих обратились в одну сторону, а мистер Коллинз при этом сказал:

— Окажите любезность, профессор, верните мисс Паутер кольцо!

— У меня его нет и быть не может, — ответил индус своим как всегда серьезным тоном. — Ведь если бы оно у меня и было, то давно уже превратилось бы в горлицу!

— Или в индусскую свинью! — недовольно буркнул майор, поскольку слащавые манеры фокусника действовали ему на нервы.

— Да, или в индусскую свинью! — любезно согласился профессор.

В этот момент в столовую вошла Мэри, неся горячее — огромное блюдо — и все начали оживленно переговариваться со своими соседями по столу. Любопытство к новому пансионеру явно ослабло. Так что ужин уже кончался, и никто так и не попросил месье Жюли расписать прелести его родного Парижа. Это только радовало египтолога. Слова помощника комиссара звучали у него в ушах до сих пор и при одной лишь мысли о том, что он сидит за одним столом с преступником, у него пропадал всякий аппетит. Быть может, ему не стоило оставаться здесь даже на ужин? Впрочем, в присутствии стольких людей ему бояться нечего...

А миссис Хобсон тем временем не сводила с него глаз, терзаясь одной лишь мыслью: «И какая муха его укусила? Ведь я отвела ему одну из своих лучших комнат! Он был в восторге, что пансион находится в двух шагах от музея. Даже насчет оплаты не стал спорить и вдруг...»

Мистер Андреев не мог не заметить ее озабоченности.

— У вас какие-то неприятности, миссис Хобсон?

— Нет, нет! — машинально ответила она, но тут же ее толкнул какой-то злой бес и она поправилась, повысив голос:

— А точнее да! Мне нужно сообщить вам одну неприятную новость. Не успев приехать, месье Жюли уже покидает нас. Он собирается уехать сразу же после ужина.

После этого сообщения поднялась целая волна всевозможных восклицаний и вопросов. Чем вызван столь спешный отъезд? Быть может, месье Жюли вынужден по просьбе своих родных вернуться в Париж? Быть может, ему не понравился Лондон?

Миссис Хобсон с тайным удовлетворением наблюдала, как месье Жюли краснел и смущался.

— Мне кажется, — совершенно неожиданно сказала она, даже не дав себе труда подумать, — что месье Жюли боится нас!

— Да что это за выдумки! — воскликнула миссис Крабтри, улыбаясь при этом своей обворожительной улыбкой. — Неужели мы так страшны?

— А хотите знать мое мнение? — спросил мистер

Андреев. Его длинные изящные руки, словно ^{крылья} птицы, казалось, взметнулись вверх. — Месье Жюли боится не нас, а... мистера Смита!

После этих слов наступило внезапное глубокое молчание. С тех пор, как нашумевшие преступления послужили причиной досадной ссоры между доктором Хайдом и майором Фэрчайлдом, тема эта в пансионе «Виктория» стала запретной. После всего происшедшего только мистер Андреев мог позволить себе коснуться этого щекотливого вопроса.

Месье Жюли отложил свой нож и вилку и, смертельно побледнев, спросил:

— Что вы хотите этим сказать?

Андреев расплылся в улыбке:

— Мой дорогой месье, не станете же вы утверждать, что вам неизвестно, кто такой мистер Смит?

— Если не ошибаюсь, речь идет об одном весьма ловком преступнике? — ответил месье Жюли, стараясь казаться как можно более естественным.

— Скажите лучше «о наиболее ловком преступнике, с которым когда-либо приходилось сталкиваться Скотланд-Ярду». За два с половиной месяца он успел совершить семь убийств.

Месье Жюли решил, что ему необходимо задать несколько вопросов, чтобы не показаться слишком информированным относительно мистера Смита.

— И как... как же он действует? — спросил он безразличным голосом.

Его перепуганный взгляд скользил с одного лица на другое. Который же из них убийца?..

Мистер Андреев любезно пустился в разъяснения:

— Этот человек бродит в тумане, ищет жертву, затем неслышно подкрадывается к ней, идя по пятам, а затем, в каком-нибудь пустынном месте, приближается, поднимает руку и...

— Мне только непонятно, — очень кстати остановила Андреева мисс Паутер, — каким это образом убийце удастся отличить прохожих с толстыми кошельками от тех, у которых в карманах ветер свищет?

— Думаю, он судит по внешнему виду!

— Но тогда внешний вид, должно быть, частенько разочаровывает его.

— А он берет количеством.

— С-с-серийная работа! — подсказал мистер Коллинз.

— Совершенно верно! — согласился с ним мистер Андреев, раскуривая сигарету. — И чтобы убедиться в этом достаточно лишь сравнить доходы, полученные им после каждого убийства. К примеру, Берман как раз незадолго до того, как его убили, снял со своего банковского счета 500 фунтов стерлингов. А вот у мистера Деруэнта, напротив, в кармане оказалось лишь 12 шиллингов 6 пенсов. Но если взять среднее арифметическое, то сумма совсем неплоха!

— Вы, похоже, прекрасно осведомлены относительно содержимого карманов убитых, — буркнул майор Фэрчайлд.

— А почему бы и нет?

— Быть может, убийца входит в число ваших друзей и лично вам все рассказал?

Откинувшись на спинку стула, русский расхохотался во всю глотку. «Он смеется словно какой-то казак», — подумал майор.

— Более того! Я сам и есть мистер Смит!..

— Господь с вами! — воскликнула миссис Хобсон, сильно бледнея и хватаясь за сердце. — Мне очень жаль, мистер Андреев, но я вынуждена вам напомнить, что некоторые темы не допускают шуток!

Русский не упустил такого превосходного случая поцеловать ручку хозяйке пансиона.

— Извините меня! — сказал он, показывая при этом степень своего раскаяния. — Но, к сожалению, я только на такие темы и люблю шутить.

Что же касается месье Жюли, то он, не в силах более выслушивать все это, со всех ног бросился к двери. На пороге он, правда, остановился и пробормотал:

— Извините, но мне уже давно пора было уходить. Вы приготовили мой счет, миссис Хобсон?

— Сейчас Мэри занесет его вам, — ответила та.

После этого все встали из-за стола, перешли в гостиную.

Мистер Андреев достал из какого-то ящика свое вышивание: каждый вечер он отводил по часу вышивке

по канве. «Ничто не позволяет так отдохнуть голове, как занятие вышиванием!» — отвечал он обычно на насмешки. Майор Фэрчайлд углубился в чтение вечерних газет, а миссис Крабтри взялась за свой пасьянс, для которого требовалось три колоды по пятьдесят две карты и который ей так и не удавалось довести до конца. Мистер Крабтри получил разрешение наблюдать за раскладкой карт.

Через четверть часа мисс Паутер встала со своего места со словами:

— Я чувствую себя совершенно разбитой! Спокойной ночи всем! Приятных сновидений.

Едва закрыв за собой дверь, она вновь приоткрыла ее и, просунув голову, добавила:

— Приятных сновидений на матрацах фирмы «Свенсон-Харрис»!

Мисс Холленд тоже вскоре пошла спать, предварительно заглянув на кухню, чтобы попросить немного молока для своего очередного подопечного — совершенно белого кота, спустившегося с неба вместе с сумерками. Затем она поднялась к себе.

Около четверти десятого миссис Хобсон, удивленная тем, что месье Жюли не выходит из своей комнаты, поднялась к нему.

Она увидела его сидящим за столом. Его руки были неестественно вытянуты вперед, а голова покоилась на руках. В его спине торчал нож.

Продолжение следует

**Перевод с французского Алексея ДРОЗДОВСКОГО
и Екатерины ДРОЗДОВСКОЙ**



Ираклий ГОЦИРИДЗЕ

ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ИЛИ Я ЗАГЛЯДЫВАЮ В СЕЙФЫ ВЛАСТИ

ВЕРШИНА, С КОТОРОЙ ВИДНО ВСЕ

Тбилиси, 9 апреля 1990 года. Прошел ровно год с того черного предрассветного часа, когда генерал Родионов, стоя под платанами на площади Ленина, вскинул руку в стиле «хайль» и дал команду «Вперед!», двинув три тысячи солдат на «усмирение народа». Солдатские сапоги растоптали подростков и женщин.

Как спалось генералу в тот предрассветный час спустя год, 9 апреля 1990 года? Как спалось в этот час всем, кто причастен к проведению этой кровавой акции — генералам Кочетову, Ефимову, непосредственно разработавшим план расправы, генералу Горгодзе, помогавшему им в этом? Или подполковнику Бакланову и майору Маслову, давшим команду окатить людей отравляющими химическими веществами? Капитану Лохину, в упор застрелившему молодого инженера Карселадзе? Или Чебрикову, Лигачеву, другим членам высшей власти, давшим «политическую рекомендацию» применить силу «во избежание худших последствий»? Или тем людям из

Окончание. Начало см. в № 5, 6.

команды Патиашвили, которые пытались великий процесс демократизации остановить вооруженным кордоном?

В этот день в Тбилиси вновь прибыла армия, но, как написал один журналист, это была армия газетчиков, съехавшая чуть ли не со всего света, чтобы узнать, что же произошло в Грузии после того кровавого дня. Центральную прессу эта тема, как и год назад, мало интересует.

В день годовщины грузинская республиканская газета «Комунисти» опубликовала мое интервью, которым я хотел бы закончить эту книгу:

— Причины трагедии 9 апреля вновь остаются актуальными, — сказал я в начале нашей беседы.

Корреспондент: Почему? Ведь высший орган нашей государственной власти, Съезд народных депутатов СССР по этому поводу вынес соответствующее постановление? В нем говорится: «Осудить применение насилия против участников демонстрации 9 апреля 1989 года».

И. Г.: Это, конечно, весьма значительное постановление, тем более, что в нем также сказано: «...в трагедии, связанной с гибелью невинных людей, отразились ...серьезные просчеты и ошибки, допущенные на всех уровнях общесоюзного и республиканского руководства при принятии и реализации решения о пресечении несанкционированного митинга на площади у Дома правительства».

Дело в том, что в любой декларации, если в ней не определены правовые направления, конкретные позитивные вопросы тонут, как камешки — в море. Поэтому за подобными декларативными постановлениями, как правило, практические результаты не следуют. Наоборот — такие заявления пенелом покрывают угольки, которые могут вспыхнуть в любой момент. Посмотрим, что происходит... Почему в последнее время с новой силой разгорелись споры вокруг 9 апреля? Имею в виду заявления и интервью в прессе Шеварднадзе, Лигачева, Катусева, Ельцина, Собчака. Это происходит потому, что «радиационный очаг» 9 апреля вновь курится. Он не заглушен. А сделать это можно единственным путем — объективной правдой. Но кто ее выскажет, если каждый говорит со своей колокольни. Ее должна признать высшая инстанция. Вот когда на этом уровне будет сказана вся правда, тогда, говоря языком юристов, дело 9 апреля и будет закрыто. А до того оно останется дремлющим вулканом.

Корр.: Как, по-вашему, в чем заключается эта объективная правда?

И. Г.: В первую очередь, всенародно должно быть признано кто осуществил, почему осуществил и как осуществил насилие 9 апреля. Ответы на три эти вопроса — самые обязательные. Вслед за этим виновные — как организаторы, так и исполнители — должны держать ответ за свои преступления. «Осудить насилие!» — таким броским заголовком сообщила миру ваша газета об окончании расследования обстоятельств трагедии 9 апреля. Обрадовали, можно сказать, нас! Но в чем выражается осуждение? Только в декларативном заявлении? Или предприняты какие-то конструктивные шаги, чтобы не повторилось насилие? Или после этого заявления в нашей стране уже не совершаются подобные или иные формы насилия? Я хорошо помню слова Михаила Горбачева на I съезде народных депутатов, когда страсти вокруг 9 апреля разгорались: мы до конца должны дойти, до самых корней трагедии, точно установить кто, почему и как совершил это страшное дело. В действительности же одни виновные остались на прежних должностях, другие пошли вверх, третьи только сменили стул, сохранив престижное положение. Разве недостаточен пример Родионова?

Корр.: Как вы считаете, все не выяснено, или все не названо своим именем?

И. Г.: На этот вопрос отвечу: многое не выяснено, чтобы о нем ничего не сказать. Хотите примеры? Пожалуйста. Между прочим, об этом чрезвычайно важном факте говорю впервые. После известных событий 1956, 1978 и 1988 годов — митингов и демонстраций — в Тбилиси были введены войска. Оказывается, это предусмотрено армейскими порядками, не нуждающимися в согласии республиканских властей. Спрашивается, кем, почему и по какому праву армии предоставлена такая свобода действий в союзной республике? Показательно, что ни комиссия Собчака, ни, тем более, военная прокуратура СССР не затронули эти факты. Между тем они наряду с насилием 9 апреля выражают государственную концепцию. Потому я и спросил, если помните, у генерала Родионова: в чьих руках реальная власть в республике, в ваших руках или у грузинского правительства и народа Грузии. Конечно, в руках вашего правительства и вашего народа, ответил мне генерал, и глазом не моргнув. Но тут хочу напомнить и другой ответ военного министра Д. Язова. На мой вопрос, есть ли какая-то доля правды в слухах о возможности военного переворота в стране, он также, не моргнув глазом, ответил: никакой доли правды в этих слухах нет, Советская Армия — надежная

и прочная опора руководства нашего государства. Я верю этим словам генерала — армия подтверждает эту свою верность.

Поэтому в дальнейшем нам следует быть мудрыми. Трагедия 9 апреля — это вершина, с которой видны и пройденный путь, и просторы будущего. Если окинуть взглядом прошлое, можем убедиться, что несчастье нам причинил не один Родионов. Конформизм — вот зло, которое в большой мере определило трагедию 9 апреля. Он принизил чувство национального достоинства в нашем обществе. Скоро выйдет публицистическая книга писателя Джансуга Гвинджилия, в которой впечатляюще передано, как изменились характер грузина, его природа. В рамках независимого журналистского расследования я ознакомился со многими документами и убедился в том, что все важные решения правящих инстанций республики приняты при единодушной поддержке близкого им круга людей. Один-два человека — если говорили что-то альтернативное. Не хочу на этот раз предавать огласке их имена и позиции.

Корр.: К сожалению, так мы жили.

И. Г.: Простите, но это не оправдание. Недавно одно должностное лицо мне сказал: попробовал бы я пойти против воли бюро — тут же вылетел бы с должности, как пробка. Разве это оправдание? Разве так рассуждали царица Кетеван, Цотнэ Даднани, другие великие люди. Правда, требовать геройства от всех нельзя, но гражданское достоинство и безупречная нравственность обязательны для каждого из нас. Если бы все члены бюро и весь партактив воспрепятствовали решению Патиашвили и Никольского вызвать войска — они этого сделать бы не сумели. Напротив, сами одумались бы. Но повторяю — почти все значительные решения руководства принимались при полной поддержке приближенных к нему советников.

Корр.: В одном из интервью вы отметили, что находившийся в Великобритании М. С. Горбачев ничего не знал о переброске в Тбилиси карательного войска. Если не секрет, откуда у вас эта информация?

И. Г.: Я не говорил, что Горбачев ничего не знал об этом решении. Я сказал, что на заседании Политбюро утром 7 апреля такое решение приняли без его участия, когда он, Шеварднадзе и Яковлев поздно вечером того же дня приземлились в Шереметьево — войска уже находилась в Тбилиси. Это абсолютно точно. Что касается того, знал ли он об этом,

находясь в Лондоне, мне неизвестно — я с ним не беседовал, не встречался, хотя многим памятно сказанные им в шутку слова: «Я знаю все, даже то, что говорят про меня в троллейбусе».

Корр.: Недавно газета «Вашингтон пост» опубликовала вашу беседу с известным американским журналистом Майклом Доббсом, он, оказывается, гостил у вас. В интервью отчетливо видно ваше мнение, что для достижения независимости Грузии наиболее верным представляется вам «литовский путь». Вы не поколебались в вашем мнении после возникших осложнений вокруг выхода Литвы из СССР?

И. Г.: Эти осложнения укрепили меня во мнении, что использование парламентских, конституционных методов — наиболее выигрышно. Мы видим, что, несмотря на возникшие трудности, Литва на сегодня значительно опередила нас на пути к независимости. Надо помнить, что путь к ней долгий и трудный.

И прошел год...

Продвинулись ли мы хотя бы на шаг в своих надеждах и ожиданиях?

В годовщину тбилисских событий «Московские новости» — вновь эта умная и добрая газета — предоставили площадь народному депутату СССР, писателю Борису Васильеву.

«Вероятно, я и помру, — пишет он, — с тем запасом наивности, с каким родился: я и сейчас не могу понять, почему армия и военная прокуратура с таким злым неприятием встретили нашу полугодовую работу. Почему обрушили на комиссию мощнейший поток листовок, газетных статей, нелепых слухов еще до заслушивания ее отчета на съезде и даже до ознакомления народных депутатов с нашим заключением. И уж совсем не могу взять в толк, кто заставил президиум нарушить сам принцип комиссии, созданной съездом, приравняв к ее докладу ведомственное сообщение военной прокуратуры...

Почему заключение комиссии Съезда народных депутатов СССР о событиях в Тбилиси так нигде и не опубликовано? (Я впервые публикую это заключение в этой книге — И. Г.).

Почему видеофильм, снятый работниками КГБ СССР в Тбилиси на проспекте Руставели с 20.00 8.04. до 5.00 9.04.89 г., до сих пор не показан по Центральному телевидению, несмотря на многократные обещания?

Все эти «почему» прошу рассматривать в качестве моего



депутатского запроса. Два десятка безвинных жертв тбилисской трагедии пока никто не снял с моей совести».

Верит ли добрый писатель Васильев в то, что получит нужный ему честный ответ на депутатский запрос?

Эта тяжелая ноша не снята и с моей совести, хотя в течение года я верой и правдой стремился распутать сложнейший клубок, связанный с многими судьбами, решениями, поступками. Под грузом прожитых лет и трудного хлеба журналиста стал я скептиком — разочаровался в возможностях прессы, которая, думаю, еще долго будет оставаться под влиянием идеологии правящего строя.

Выступая недавно перед коммунистами МИД СССР, Э. Шеварднадзе призывал к консолидации во имя сохранения единства партии. Он говорил убедительно, прочувствованно, доказательно.

Но ведь колесо истории совершает свой оборот независимо от воли личностей и даже народов. Личности лишь выражают свое время. Сам Эдуард Амвросиевич, помню, приводил глубоко задевший его случай, когда человек, принятый им в партию, поднялся на трибуну и положил свой партбилет. Это было после 9 апреля в Тбилиси. Как бы ни горька была правда, этот случай иллюстрирует реально существующий процесс в истории государства. Карфаген был разрушен не потому, что к этому призывал в каждом своем выступлении в сенате Катон Старший — колесо истории поворачивает Время.

Я не знаю, на чем основывается непоколебимый оптимизм Эдуарда Шеварднадзе — умного государственного мужа и опытного политика. Мой же скептицизм имеет своей основой факты, с которыми я сталкивался всю свою жизнь, уподобляясь Рыцарю Печального Образа в его беспомощности.

Недавно в Москве, возле станции метро «Комсомольская», я встретил знакомого офицера.

— Здравствуйте. Вижу, вы получили повышение в звании. Поздравляю.

— Спасибо. Стараемся, — с достоинством ответил полковник.

Это был Юрий Баграев — старший следователь Главной военной прокуратуры, который под руководством генерал-майора В. Васильева вел следствие по «тбилисскому делу». Летом 1989 года он был подполковником. Старания военного юриста были оценены по достоинству.

Простите, два десятка безвинных жертв тбилисской трагедии!

Корреспондент из Швейцарии настойчиво допытывался, почему я веду журналистское расследование в одиночку. Поэтому что я верю: личность монолитнее группы, коллектива. ее невозможно расколоть.

Через всю жизнь я пронес мудрость моего университетского учителя. Вспомним:

— Если мне явится Бог, в правой руке будет держать Истину, а в левой — ничего, кроме Пути к ней, и скажет: выбирай, я приложусь к его левой руке и попрошу: дай мне это, а Истина да принадлежит только тебе!

— Но как найти ориентир на этом пути? — могут спросить люди.

Он в каждом из нас, в совести каждого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию событий, имевших место в Тбилиси 9 апреля 1989 года

I. Введение

Комиссия по расследованию событий, происшедших в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года, была создана Съездом народных депутатов СССР в составе 24 человек, среди которых представители 9 союзных республик, государственные и общественные деятели, известные ученые и писатели, представители армии и церкви. Председателем Комиссии был избран Собчак А. А., заместителями председателя — Аасмяэ Х. Ю., Голяков А. И., Томкус В. П., секретарем — Станкевич С. Б.

В соответствии с поручением съезда Комиссия считала своей задачей выяснить подлинный характер событий, происшедших в ночь на 9 апреля с. г. в г. Тбилиси, причины трагедии, правомерность принятых на различных уровнях партийного, государственного и военного руководства связанных с ними решений, оценить ряд последствий указанных событий. В процессе работы Комиссии выявилась потребность дать ответ на более общий вопрос: об условиях и пределах допустимости привлечения подразделений Советской Армии для поддержания общественного порядка.

Члены Комиссии ознакомились с документами, полученными от расследовавших данные события комиссий под председательством Таразевича Г. С., Министерства обороны СССР (председатель генерал-майор медслужбы Софронов Г. А.) и Верховного Совета Грузинской ССР (председатель проф. Шав-

гулидзе Т. Г.), а также с материалами (шифrogramмами, справками, докладными записками, стенограммами совещаний и т. д.), полученными от ЦК КПСС и ЦК Компартии Грузии, Президиумов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Грузинской ССР, Министерства обороны СССР, командования ЗакВО, Министерств внутренних дел СССР и Грузинской ССР, Комитетов госбезопасности СССР и Грузинской ССР, Прокуратуры СССР, других государственных и общественных организаций.

Комиссия имела встречу с Председателем Верховного Совета СССР, Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Горбачевым М. С.

Комиссия заслушала членов Политбюро — секретарей ЦК КПСС гг. Лигачева Е. К., Чебрикова В. М., министра иностранных дел СССР Шеварднадзе Э. А., кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС: первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР Лукьянова А. И., секретаря ЦК КПСС Разумовского Г. П., министра обороны СССР Язова Д. Т., министра внутренних дел СССР Бакатина В. В., некоторых ответственных работников аппарата ЦК КПСС, руководителей ЦК Компартии Грузии, руководство МО СССР, МВД СССР и МВД Грузинской ССР, КГБ СССР и Грузинской ССР, представителей Главной военной прокуратуры и Прокуратуры Грузинской ССР, а также командования ЗакВО, частей и подразделений Советской Армии, внутренних войск и милиции, принимавших участие в операции 9 апреля 1989 г. Проведены беседы с очевидцами событий: работниками милиции, Минздрава Грузинской ССР и скорой помощи, военнослужащими ВВ и СА, представителями общественности, бывшими воинами-интернационалистами, священнослужителями (в том числе с патриархом грузинской православной церкви Католикосом Грузии Илией II), представителями народного фронта и неформальных организаций Грузии, отдельными гражданами, в частности, с потерпевшими, находившимися на излечении в медицинских учреждениях г. Тбилиси.

Были изучены материалы, опубликованные в периодической печати, а также поступившие в адрес Комиссии многочисленные письма и телеграммы от граждан, проживающих в разных районах нашей страны.

В процессе работы члены Комиссии выезжали в г. Тбилиси, встречались с представителями общественности республики и ЗакВО, посетили больницы и принимавшие участие в событиях воинские части.

Для правильной оценки событий, происшедших в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года, необходимо исходить из того, что страна бесповоротно вступила на демократический путь развития, который немыслим без постоянного проявления самых различных форм социальной активности народа. Основным содержанием ее является стремление законным путем, в рамках строгого соблюдения общественного порядка, выразить свои интересы, принять реальное, конструктивное участие в демократическом развитии. И в этих условиях долг государственной власти, органов охраны правопорядка — предоставить для такой активности реальную гарантию и защиту.

Но в ходе этих процессов, конечно, возможны действия и антисоциального, незаконного, насильственного характера. И здесь долг государственной власти — проявить твердость, применить в необходимых пределах силу.

Принципиальное значение в связи с этим приобретает объективная оценка ситуации. Явилось бы непростительным бездействие власти против насилия, против нарушений закона. Но и применение силы по отношению к мирному митингу или демонстрации, приводящее к жертвам, тоже непростительно. И в том, и в другом случае — это удар по перестройке и демократии.

Оценивая случившееся, Комиссия учитывала, что перестройка вызвала пробуждение национального самосознания, стремление к достижению подлинной экономической самостоятельности и государственного суверенитета, которые характеризуют сегодня общественно-политическую обстановку не только в Грузии, но и в других союзных республиках. Предпосылки трагических событий 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси складывались на протяжении длительного времени. В них проявились кризисные явления, охватившие многие сферы государственного управления и общественной жизни в республике и в стране в целом.

Комиссия отмечает, что в процессе демократизации возникли неизбежные различия и крайности в высказывавшихся взглядах и призывах, в оценках направлений, путей и форм будущего политического развития республики и всей страны. Наряду с общественными движениями и организациями, стремящимися к демократическому обновлению экономической и политической системы социализма, в республике возникли неформальные организации, в программе которых содержались также положения антисоциалистического и националистиче-

ского характера. Их деятельность шла вразрез с перестройкой и серьезно обостряла политическую ситуацию в республике.

В этих условиях перед государственным и партийным руководством республики встала важнейшая задача — оправдать свою роль политического и идеологического авангарда, действовать в духе перестройки, убеждением влиять на настроения людей, не допускать собственного отрыва от реального развития политических процессов в республике. Однако руководство ЦК Компартии Грузии не сумело найти контакт, наладить диалог с общественностью. В последующем, по мере развития социальных процессов, усиления популярности неформалов, руководство встало на путь конфронтации. Именно этим можно объяснить, в частности, то обстоятельство, что ходатайства о проведении митингов, за незначительным исключением, встречали, как правило, отказ, в результате чего практикой стало проведение незаконных митингов без предварительного уведомления органов власти. Так постепенно руководство республики утрачивало контроль за политическими процессами, ослабевало партийное влияние на массы, падал его авторитет в разных слоях населения. Это проявилось еще в событиях ноября 1988 год, когда лишь активная политическая позиция грузинской интеллигенции, обращение Горбачева М. С. к грузинскому народу помогли разрядить обстановку. Но сами руководители республики уже тогда склонялись к применению силы.

К сожалению, и в дальнейшем в позиции и деятельности руководства Грузии должных перемен не произошло.

Комиссия считает, что такие факты, как самоизоляция руководства республики, неадекватная, подчас паническая оценка конкретных ситуаций, неспособность положительно воздействовать на обстановку политическими методами, явились одной из основных причин, которые и привели в конечном итоге к трагическим последствиям событий 9 апреля с. г. в г. Тбилиси.

2. Обстановка в республике накануне событий 9 апреля и механизм принятия решения о пресечении митинга

В конце марта — начале апреля 1989 г. в республике произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии, которые послужили непосредственным поводом для проведения неформальными организациями многодневного несанкционированного митинга перед

Домом правительства в г. Тбилиси. Однако к 6 апреля антабхазская направленность митинга резко меняется (в связи со сменой руководства Абхазского обкома Компартии Грузии) и выдвигается крайнее требование о выходе Грузии из состава СССР. Наряду с этим на митинге обсуждались многие волнующие общественность насущные проблемы. В нем (с утра и до позднего вечера) участвовали тысячи граждан. Сотни митингующих оставались у Дома правительства и ночью. Все это привело к дезорганизации работы транспорта в центре города, некоторых государственных организаций, к нарушению общественного порядка в столице. Переданное по республиканскому радио и телевидению обращение ЦК Компартии Грузии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Грузинской ССР положительного воздействия на участников митинга не оказало. Его организаторы послали своих представителей в трудовые коллективы, вузы, школы с призывом начать забастовку и присоединиться к митингующим, прибегали к пикетированию. Многие вузы и некоторые школы прекратили занятия.

Однако необходимо подчеркнуть, что большинство рабочих и служащих столицы Грузии не поддержало этих призывов и продолжало трудовую деятельность.

В ходе митинга раздавались безответственные призывы к отказу от подчинения законным распоряжениям властей, выдвигались и лозунги националистического, антисоциалистического и антисоветского характера, в частности: «Долой коммунистический режим!», «Долой русский империализм!», «СССР — тюрьма народов!», «Долой Советскую власть!», «Ликвидировать автономию Абхазии!» и другие. Организаторы митинга продолжали обострять обстановку, призывали продолжить митинги, забастовки и голодовки до 14 апреля.

Таким образом, политическая обстановка в г. Тбилиси накануне событий 9 апреля характеризовалась как чрезвычайная и требовала от руководства ЦК Компартии Грузии и правительства республики принятия срочных и ответственных решений.

Комиссия, однако, отмечает, что в ходе расследования не было выявлено террористических актов, не установлены факты, свидетельствующие о реальных попытках захвата власти, случаи насилия или покушения по политическим мотивам в отношении работников советских и партийных органов, коммунистов, либо граждан негрузинской национальности.

Характерно, что митинг сопровождался такой пассивной

формой протеста, как объявление массовой многодневной голодовки (более 100 голодающих у Дома правительства).

Необходимость прекращения несанкционированного митинга в этот период существовала, но эта задача должна и могла быть решена органами, на которые законом возлагается обеспечение охраны общественного порядка — органами Министерства внутренних дел республики. Комиссия отмечает, что Министерство внутренних дел Грузинской ССР и Управление внутренних дел г. Тбилиси не выполнили лежащих на них обязанностей по пресечению несанкционированного митинга, хотя, по утверждению ответственных работников МВД Грузии, они неоднократно ставили перед руководством республики вопрос о пресечении проходящего перед Домом правительства митинга и восстановлении в столице нормального положения с помощью находящихся в их распоряжении сил. Однако руководством республики это предложение принято не было из-за боязни осложнений в виде массовых выступлений населения, справиться с которыми имеющимися наличными силами внутренних войск и милиции, по его мнению, было бы невозможно.

Руководство республики считало, что такое мероприятие можно было осуществить при условии введения комендантского часа, для чего необходимо привлечь дополнительные воинские подразделения.

Поэтому им было принято решение обратиться за помощью к союзным органам. В 20 часов 35 минут 7 апреля с. г. в ЦК КПСС за подписью первого секретаря ЦК Компартии Грузии Патиашвили Д. И. была направлена известная телеграмма, подготовленная вторым секретарем ЦК Компартии Грузии Никольским Б. В. По мнению Комиссии, содержащаяся в данной телеграмме оценка политической обстановки в республике не в полной мере соответствовала реальному положению дел, и достаточных оснований для сосредоточения в г. Тбилиси воинских подразделений и введения особого положения (комендантского часа) не было.

Комиссия констатирует наличие серьезных просчетов и нарушений закона в ходе подготовки и осуществления мероприятий по пресечению митинга у Дома правительства в г. Тбилиси в ночь на 9 апреля, допущенных как общесоюзными, так и республиканскими органами.

В ЦК КПСС 07.04.89 г. под руководством члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС тов. Лигачева Е. К. состоялось совещание, в котором приняли участие члены Политбюро ЦК

КПСС тт. Медведев В. А., Слюньков Н. Н., Чебриков В. М., кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС тт. Лукьянов А. И., Разумовский Г. П., Язов Д. Т.; Председатель КГБ СССР т. Крючков В. А., заместитель министра внутренних дел СССР т. Трушин В. П. и ряд ответственных работников аппарата ЦК КПСС. Рассматривался вопрос о положении в Грузии.

Работа совещания не протоколировалась и его итоги документально зафиксированы не были. О содержании выработанных решений можно судить только по объяснениям участников совещания. На совещании фактически было дано согласие на удовлетворение устных просьб руководства республики о выделении подразделений внутренних войск и Советской Армии. На основе этого изданы директива Генерального штаба Министерства обороны СССР и приказ по Министерству внутренних дел СССР о направлении в Грузию соответствующих войсковых подразделений.

Руководству республики рекомендовано коллективно обсудить создавшееся положение и, используя политические средства, найти выход из сложной ситуации.

Было сделано предупреждение о необходимости соблюдать крайнюю осмотрительность и использовать войска только в исключительной ситуации. Руководству республики по телефону было сообщено, что конкретные решения об использовании направляемых в Грузию войск оно должно принимать совместно с командованием ЗакВО, исходя из сложившейся обстановки. При этом не рекомендовалось вводить в данный момент в г. Тбилиси особое положение и объявлять комендантский час.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. С. Горбачев возвратился в Москву из зарубежной поездки 07.04.89 г. в 23 часа и был проинформирован о положении в Грузии. Тогда же им было высказано предложение о направлении в Грузию тт. Шеварднадзе Э. А. и Разумовского Г. П.

На следующий день в ЦК КПСС состоялось второе совещание, посвященное положению в Грузии. Им руководил член Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Чебриков В. М. Состав участников тот же, что и 07.04.89 г. за исключением т. Лигачева Е. К., уехавшего в отпуск. На нем присутствовали также член Политбюро т. Шеварднадзе Э. А. и министр внутренних дел СССР т. Бакатин В. В. Как и накануне, работа совещания не протоколировалась и принятие решения доку-

ментально не фиксировалось. К этому времени была получена шифрограмма от 08.04.89 г., подписанная Патиашвили Д. И., о том, что обстановка в городе стабилизируется и находится под контролем. Между т. Шеварднадзе Э. А. и т. Патиашвили Д. И. состоялся обмен мнениями по телефону. Ссылаясь на стабилизацию положения в ночь с 7-го на 8-е т. Патиашвили Д. И. посчитал прилет товарищей Шеварднадзе Э. А. и Разумовского Г. П. излишним, с чем согласились и участники совещания.

Таким образом, направление в Грузию подразделений внутренних войск, специальных подразделений милиции и войск Советской Армии проводилось с согласия указанных совещаний в ЦК КПСС 7 и 8 апреля. Это противоречило действующему законодательству, согласно которому право принятия подобных решений принадлежит не партийным, а соответствующим государственным органам. Такой порядок принятия решений приводит к фактическому бездействию конституционных органов Советской власти, как это и произошло в данном случае.

На республиканском уровне план мероприятий по нормализации обстановки в республике, включающий меры по введению чрезвычайного положения с привлечением войск Закавказского военного округа, был принят сначала Бюро ЦК Компартии Грузии, а затем одобрен собранием партийного актива республики, состоявшегося 08.04.89 г. На этом активе была дана оценка обстановки, утвержден план мероприятий по нормализации обстановки и было принято решение всему составу актива пойти на митинг, принять в нем участие и постараться убедить участников прекратить митинг и нормализовать обстановку. Однако это важнейшее решение членами актива выполнено не было.

Вопрос о пресечении несанкционированного митинга неоднократно обсуждался Бюро ЦК Компартии Грузии. Решение прекратить митинг было принято Бюро ЦК Компартии Грузии 8 апреля с. г. На состоявшемся в этот же день заседании Совета обороны республики обсуждались связанные с этим вопросы, несмотря на то, что он на это не уполномочен. Время проведения операции было определено позднее узким кругом лиц (т. Патиашвили Д. И., Никольский Б. В., Кочетов К. А., Родионов И. Н.) с учетом того, что под утро на площади оставалось наименьшее количество людей, как правило, не более 200 человек (голодающие и их родственники).

Комиссия отмечает, что принятые на заседаниях Бюро

ЦК Компартии Грузии и Совета обороны республики решения не были своевременно и надлежащим образом оформлены, что дало возможность ряду участников заседания отрицать свое участие в принятии решения о пресечении митинга перед Домом правительства.

Руководство подготовкой и проведением операции по пресечению митинга и разработка плана операции были возложены на командующего ЗакВО генерала Родионова И. Н. как старшего по званию и на основе полномочий, предоставленных ему решением Бюро ЦК Компартии Грузии с подчинением ему всех сил и средств, выделенных для наведения порядка в городе.

Комиссия полагает, что находившиеся в этот период в г. Тбилиси ответственные работники аппарата ЦК КПСС (Лобко В. Н., Буянов В. С., Селиванов А. Е.) могли оказать помощь партийному руководству республики как в правильной оценке сложившейся ситуации, так и в стабилизации и оздоровлении обстановки политическими средствами.

Вечером 8 апреля 1989 года издается распоряжение Совета Министров Грузинской ССР, подписанное Председателем Совмина ГССР т. Чхеидзе З. А., которым МВД Грузинской ССР предписывается с привлечением военнослужащих внутренних войск и Советской Армии принять меры по удалению митингующих с территории, прилегающей к Дому правительства. Это единственный документ о пресечении несанкционированного митинга в г. Тбилиси, принятый не партийным, а государственным органом. Однако содержащееся в распоряжении указание о привлечении военнослужащих к выполнению этой задачи является незаконным, так как правительство республики не наделено такими полномочиями.

Одновременно Комиссия отмечает, что Президиум Верховного Совета Грузинской ССР (председатель т. Черкезия О. Е.) в создавшейся обстановке самоустранился от принятия необходимых конституционных решений.

Сосредоточение войск и подготовка операции по пресечению несанкционированного митинга происходили следующим образом.

Сразу же после совещания в ЦК КПСС 07.04.89 г. последовало устное распоряжение министра обороны СССР, генерала армии Язова Д. Т. генералам Кочетову К. А. и Родионову И. Н. прибыть в г. Тбилиси, где действовать в соответствии с обстановкой по собственному усмотрению. В тот же день (07.04.89 г. в 16.50) начальник Генерального штаба генерал

армии Моисеев М. А. от имени министра обороны издает директиву о направлении в район г. Тбилиси парашютно-десантного полка для взятия под охрану важнейших объектов и организации контроля на основных дорогах при въезде и выезде из г. Тбилиси. Одновременно в полную боевую готовность были приведены три войсковые части Тбилисского гарнизона.

По команде заместителя министра внутренних дел СССР Шилова И. Ф. в г. Тбилиси также были направлены подразделения внутренних войск и специальные подразделения милиции (ОМОНЫ) из разных регионов страны общей численностью более 2 тыс. человек.

Вечером того же дня генералы Кочетов К. А. и Родионов И. Н. после прибытия в г. Тбилиси встретились с первым и вторым секретарями ЦК Компартии Грузии Патиашвили Д. И. и Никольским Б. В. На этой встрече партийные руководители Грузии вновь настойчиво просили о введении комендантского часа, на что Кочетов К. А. и Родионов И. Н. ответили отказом, ссылаясь на отсутствие достаточного количества войск. Тогда же было принято неправомерное решение о проведении демонстрации военной силы.

Утром 08.04.89 г. город на малой высоте облетели 3 эскадрильи военных вертолетов, а около полудня по улицам г. Тбилиси по трем маршрутам и мимо митингующих проследовала боевая техника с вооруженными солдатами.

Эта акция сыграла провоцирующую роль. В ответ на нее отдельные группы митингующих пошли на дальнейшее нарушение закона: стали захватывать транспортные средства и перекрывать ими как выходы с проспекта Руставели, так и выходы на прилегающие к проспекту улицы (всего было использовано 29 автобусов, троллейбусов и большегрузных машин, у шести из которых были спущены шины). Одновременно с этим на площадь начали стекаться люди. К вечеру возле дома, где проживает Патиашвили Д. И., состоялся митинг женщин с требованием вывода войск из г. Тбилиси. С ними никто не стал разговаривать, после чего женщины (около 700 человек) перешли на площадь и примкнули к митингующим. Таким образом, прямым результатом демонстрации военной силы стало резкое увеличение числа митингующих. В этой усложнившейся обстановке целесообразнее было бы обождать с решением о насильственном прекращении митинга, не утратившее к этому времени способность к реальной оценке и управлению происходящими процессами партийное руководство

республики не видело иного выхода из сложившейся ситуации, кроме применения силы.

Конкретный план операции по вытеснению митингующих с площади перед Домом правительства генерал Родионов И. Н. поручил разработать начальнику оперативного управления штаба внутренних войск МВД СССР генералу Ефимову Ю. Т., прибывшему в Тбилиси 07.04.89 г.

План операции и схема действия войск были подписаны генералом Ефимовым Ю. Т. и министром внутренних дел Грузии Горгодзе Ш. В., а затем утверждены генералом Родионовым И. Н.

Приказ с постановкой задачи отдельным подразделениям был отдан устно. Рекогносцировка с командирами подразделений не проводилась.

Операция по пресечению митинга началась 9 апреля в 4 часа утра и завершилась трагически. Комиссия отмечает, что при введении на основании Постановления Президиума Верховного Совета Грузинской ССР вечером 9 апреля с. г. комендантского часа в г. Тбилиси, были допущены нарушения как порядка принятия указанного решения, так и его осуществления.

3. Реальный ход операции по пресечению митинга

Согласно решению, утвержденному руководителем операции генерал-полковником Родионовым И. Н., к 3.30 9 апреля с. г. на площади Ленина сосредоточились войска, на которые возлагалась задача вытеснения митингующих с площади перед Домом правительства и вдоль проспекта Руставели до площади Республики. Они состояли из 4-го мотострелкового полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (4-й МСП ОМСДОН), г. Москва — 650 чел.; отряда милиции особого назначения (ОМОН), г. Пермь — 120 чел.; ОМОН, г. Воронеж — 40 чел.; Высшей школы милиции (ВШМ), г. Горький — 450 чел.; 8-го мотострелкового полка (8-й МСП), г. Тбилиси — 650 чел.; МВД ГССР — 250 чел.; воздушно-десантного полка (ВДП) — 440 чел.

К участию в операции привлекалось 2550 чел., 6 бронетранспортеров (БТР), 8 боевых машин десанта (БМД), 4 пожарные машины и 2 санитарных автомобиля.

Перед началом операции генерал-майором Ефимовым Ю. Т. командирам подразделений были устно поставлены следующие задачи.

4-му МСП — медленно продвигаясь по проспекту Руста-

вели от площади Ленина до площади Республики, вытеснить митингующих до рубежа — гостиница «Иверия».

Согласно письменному объяснению Ефимова Ю. Т. ^{подтвержденному} Комиссией МВД под председательством ^{заместителя} министра Трушина В. П., задача, поставленная 8-му МСП, была изложена иначе, чем записано в решении, а именно:

8-му МСП — двумя батальонами с началом операции продвинуться на площадь перед Домом правительства по улицам Читадзе и Чичинадзе, где отсечь от основной массы на площади группу голодающих.

ВШМ (г. Горький) — двигаясь за 4-м МСП, перекрыть выходы на проспект Руставели из прилегающих улиц.

Аналогичная задача ставилась и перед ОМОНами. Перед командиром пожарной части была поставлена задача тушения пожаров, если такие возникнут, с указанием особое внимание обращать на сопровождающую войска бронетехнику. Задача на разгон митингующих водой в решении упоминалась, но впоследствии она была отменена Ефимовым Ю. Т. и Горгодзе Ш. В.

ВДП (в составе двух батальонов) — двигаться за цепью 4-го МСП с задачей взятия под охрану площади перед Домом правительства, проспекта Руставели и прилегающих к нему улиц. Быть готовыми в случае необходимости оказать помощь 4-му МСП.

Для выполнения возложенных задач внутренние войска были экипированы и вооружены следующим образом: каски, бронежилеты, резиновые палки; щиты имели 50% личного состава, офицеры имели при себе полагающееся им личное оружие (пистолет «ПМ») с двумя снаряженными обоймами. В составе 4-го МСП двигался расчет по применению спецсредств «Черемуха», подчиненный непосредственно врио командира этого полка подполковнику Бакланову А. М.

В 2.50 9.04.89 г. перед митингующими выступил начальник УВД г. Тбилиси полковник Гвенцадзе Р. Л. с призывом разойтись до того, как войсками будет применена сила. По его словам, митингующие не дали ему выступить перед микрофоном, и он был вынужден воспользоваться переносным мегафоном. За 45 минут до начала операции к митингующим обратился Католикос Грузии Илия II. Выступление Католикоса было выслушано в глубоком молчании, после его призыва к благоразумию установилась семиминутная тишина, затем последовала общая молитва «Отче наш». Митингующие сохра-

няли порядок, спокойствие, не было видимых признаков страха: многие пели и танцевали. Затем выступил один из лидеров неформалов Церетели И. с призывом не расходиться, не оказывать сопротивления, сохранять спокойствие, а лучше всего сесть («сидящих не бьют!»), что многими и было сделано, главным образом в районе лестницы Дома правительства. Он закончил свой призыв в 3.59. В 4.00 генерал-полковник Родионов И. Н. отдал приказ начать операцию вытеснения.

Комиссия отмечает, что реально сложившаяся к этому времени обстановка на площади (наличие около 10 тыс. человек), готовность, с которой участники митинга намеревались его продолжить, требовала особо взвешенных, осмыслительных решений по проведению операции. Но все эти обстоятельства не были приняты во внимание при обмене мнениями, состоявшемся в 3.30 между Патиашвили Д. И. и Родионовым И. Н. по телефону. Указанные должностные лица проявили вопиющую безответственность, безоговорочно подтвердив ранее принятое решение.

В 4.05 на проспекте Руставели в районе Дома правительства появились четыре БТР. Они шли по всей ширине проспекта, люди беспрепятственно пропустили их, частью отойдя к Дому правительства, частью — к Дому художника и Кашветскому храму. Вслед за бронетехникой шли войсковые цепи, которые в 4.07 остановились на рубеже: вход в Дом художника — правый газон перед Домом правительства. При этом основная масса митингующих оставалась у лестницы Дома правительства.

Подполковник Бакланов А. М. по мегафону предложил участникам митинга освободить проспект Руставели и предупредил, что в случае отказа будет применена сила. Следует отметить, что эти предупреждения из-за гула на площади многими не были услышаны.

С выходом войск на исходные позиции митингующие начали покидать площадь, однако достаточного времени на их рассредоточение не было предоставлено. При этом не было также принято во внимание и то, что почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом, т. е. пути эвакуации были резко ограничены. Спустя 3 минуты операция по вытеснению людей с площади была продолжена.

Войсковые цепи 4-го МСП начали теснить митингующих как к Дому правительства, так и вдоль проспекта Руставели. При этом большая часть участников митинга, находящихся с левой стороны Дома правительства, продолжала оставаться на

месте, невольно мешая свободному выходу теснимых с фронта людей. Ситуация серьезно усугубилась тем, что в это время 1-й батальон 8-го МСП, следуя устному приказу генерал-майора Ефимова Ю. Т., начал движение на площадь с улицы Чичинадзе. В результате движения цепи военнослужащих, с одной стороны, и нарастающего уплотнения людских масс, вызвавшего сопротивление митингующих, с другой стороны, в районе левого газона возникла давка. Именно здесь и оказалось больше всего погибших и пострадавших из числа гражданского населения. Среди лиц, получивших травмы, оказалось также немало работников милиции и военнослужащих.

На этом этапе часть митингующих оказалась фактически в окружении, т. е. зажатой между военнослужащими и не успевшими отойти демонстрантами. Произошло яростное столкновение. Применение с грубейшими нарушениями инструкций резиновых палок и отравляющих веществ, использование в разгоне митингующих малых пехотных лопаток фактически обернулось жестокой расправой над советскими людьми.

Комиссия, изучив все документальные материалы, имеющиеся в ее распоряжении, пришла к твердому мнению, что никаких убедительных аргументов, оправдывающих целесообразность ввода в операцию по вытеснению митингующих с площади роты воздушно-десантного полка Советской Армии, не имелось.

По объяснению генерала Ефимова Ю. Т., во время продвижения цепочки войск по проспекту Руставели, из-за уширения проспекта в районе Дома правительства, левый фланг якобы оголился, что создало, по словам Ефимова Ю. Т., реальную угрозу не только проникновения митингующих в тыл военнослужащих, но и их окружения.

Для устранения разрыва, по просьбе генерала Ефимова Ю. Т., генерал Родионов И. Н. выделил роту десантников и тем самым позволил втянуть военнослужащих Советской Армии в выполнение не свойственных им функций, грубо нарушив директиву Генерального штаба о возложении на армейские подразделения лишь задач по охране особо выделенных объектов. По мнению Комиссии, в этой ситуации реальной угрозы срыва операции по вытеснению митингующих не было, как и не было необходимости в подключении роты десантников.

К 4.21 очищение площади перед Домом правительства было закончено. 1-й батальон 8-го МСП примкнул к 4-му МСП, который продолжал вытеснение митингующих.

На этом этапе операции внутренние войска, преодолевая активное сопротивление теснимых по проспекту Руставели участников митинга, применили спецсредства «Черемуха». По докладам руководства внутренних войск спецсредства были применены: первый рубеж — ул. Джорджиашвили — ул. Л. Украинки; второй рубеж: ул. Луначарского — ул. Чарчавадзе; третий рубеж: перед Домом связи.

При подходе к площади Республики (выход был загорожен троллейбусами и автобусами) из-за возросшего сопротивления подполковник Бакланов А. М. самостоятельно отдал команду на применение нетабельного изделия К-51, содержащего отравляющее вещество СS. Были применены четыре гранаты, из которых одна не сработала.

Особо следует отметить самовольное решение подполковника Бакланова А. М. на использование изделия К-51, скрывшего впоследствии факт применения этого изделия.

Точность указания рубежей применения отравляющих веществ вызывает сомнение. По многочисленным показаниям пострадавших отравление они получили на более ранних подступах (непосредственно у Дома правительства и Кашветского храма).

На стадии завершения операции по вытеснению имел место факт огнестрельного ранения одного из участников митинга в голову.

Комиссия отмечает, что применение спецсредств было осуществлено 4-м МСП с нарушением действующего наставления (см. Приложение № 1 к приказу МВД СССР № 0507 1970 г.). С первого рубежа применения спецсредств и до конца проспекта Руставели идут жилые дома (начиная с гостиницы «Тбилиси»). В пункте 23 III-го раздела наставления говорится о предупреждении мирного населения перед использованием спецсредств и даже о его эвакуации. Однако генерал Ефимов Ю. Т., игнорируя это требование, отдал приказ на использование «Черемухи» в жилом районе. То же происходило и на последующих рубежах. Имеются сведения, что отдельные военнослужащие проникали в жилые кварталы, где применяли спецсредства «Черемуха».

С особой тревогой Комиссия отмечает предпринимавшиеся руководством внутренних войск попытки сокрытия самого факта применения отравляющих веществ.

Применение спецсредств «Черемуха» было официально ими признано 13 апреля с. г. и то лишь под давлением неопровержимых улик.

В последующем шло поэтапное признание применения различных модификаций «Черемухи» и газа CS (изделие К-51).

Длительное время представителями командования Советской Армии отрицался также факт применения малых пехотных лопаток.

Уместно отметить, что командирами и политработниками при инструктаже привлекаемых к операции военнослужащих информация об участниках митинга и их намерениях доводилась в искаженном виде.

Таким образом, совокупный анализ реального хода операции по вытеснению митингующих позволяет достоверно утверждать, что только вследствие грубейших, граничащих с преступной халатностью нарушений действующего законодательства, уставов, наставлений и инструкций, с одной стороны, и противоправных действий организаторов и некоторой части участников митинга, с другой, завершилась она трагически. Дело следствия разобраны в степени виновности как санкционировавших ее проведение руководителей, непосредственных исполнителей, так и тех участников митинга, которые совершили противоправные действия.

4. Оценка ущерба здоровью и причины гибели лиц, принимавших участие в событиях 9 апреля 1989 года

Комиссия ознакомилась с первичной медицинской документацией (истории болезни, амбулаторные карты, акты судебно-медицинских исследований и др.) различных учреждений и организаций Минздрава Грузинской ССР, актами и справками комиссий Минздрава СССР, отчетом комиссии Министерства обороны СССР, заключением медицинской подкомиссии комиссии Верховного Совета Грузинской ССР, заключением Института судебной медицины МЗ СССР, отчетом о медицинской миссии в Грузинскую ССР Международного Красного Креста и рядом других документов, относящихся к медицинским последствиям событий, имевших место 9 апреля с. г. в г. Тбилиси.

Членами Комиссии были проведены дополнительные научные исследования и консультации силами привлеченных для этой цели специалистов.

Анализ имеющихся данных позволяет определить масштаб и характер медицинских потерь в связи с операцией по вытеснению митингующих.

Общее количество участников митингов на ограниченных территориях у Дома правительства и здания телестудии точно не установлено, но составило по приближенным оценкам 8—10 тыс. человек. Число женщин, по-видимому, приближалось к 50%. Известно также, что среди лиц, принимавших участие в митингах, было много подростков и лиц пожилого возраста. Метеорологическая обстановка характеризовалась умеренно-теплой температурой воздуха (+9°C), высокой влажностью (90%), безветрием.

Место событий было хорошо освещено уличными фонарями. Плотность участников митинга возрастала от периферии площади к ступеням перед Домом правительства, где находились голодающие (более 100 человек) и руководители митинга.

В помещении Дома художника с 4-ого апреля функционировал медицинский пункт горздравотдела.

Операция по «вытеснению» осуществлялась в ночное время (4—5 часов местного времени). Это обстоятельство необходимо специально отметить, поскольку в ночные часы, в соответствии с природой биологических ритмов, реактивность человека, его устойчивость к действию повреждающих факторов резко снижается.

Установлено, что против участников митинга «силами вытеснения» были применены резиновые палки, «спецсредства» — отравляющие вещества раздражающего действия, малые пехотные лопаты и, в одном случае (по заключению учебно-медицинской экспертизы), огнестрельное оружие. В свою очередь, по мере возрастания сопротивления, участники митинга использовали против «сил вытеснения» подручные предметы.

По данным персонала медицинского пункта поступление первых раненых участников демонстрации — женщин, подростков, мужчин отмечено через 5 мин. от начала соприкосновения с «силами вытеснения». В последующие 5 минут поступление травмированных приобрело массовый характер. Помещение медпункта вскоре было полностью заполнено, поэтому многим лицам медицинская помощь оказывалась на улице. В этой связи были вызваны дополнительные бригады скорой помощи и санитарный транспорт.

Зафиксированы свидетельства о случаях, когда военнослужащие чинили препятствия медработникам в оказании помощи пострадавшим. Актами автобазы скорой помощи г. Тбилиси зарегистрировано 6 случаев нападения на санитарные автомашины с их повреждением.

Многие участники событий: гражданские лица, работники милиции и военнослужащие получили повреждения различного характера и тяжести. Трагический результат ^{состоял} в том, что 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Случаев гибели военнослужащих и работников милиции не было.

Точное определение числа пострадавших как со стороны демонстрантов, так и со стороны военнослужащих и работников милиции встречает определенные затруднения. Вместе с тем Комиссия располагает достаточным материалом для того, чтобы в целом охарактеризовать медицинские последствия событий 9 апреля.

По данным Минздрава Грузинской ССР во время операции по вытеснению и в течение нескольких часов после нее в больницы г. Тбилиси поступило 251 человек, из них 183 были госпитализированы. В последующие дни имело место волнообразное нарастание числа обратившихся за медицинской помощью (13, 21, 27 апреля и 5 мая). В целом за период с 9 апреля по 9 мая общее число обращений в лечебные учреждения составило от трех до четырех тысяч человек. Всего было госпитализировано около 500 и в настоящее время на диспансерном учете и лечении состоит около 1000 человек.

В ходе событий были травмированы, по данным МВД Грузинской ССР, 37 работников милиции г. Тбилиси, 22 из них получили травмы от действий военнослужащих. По данным МВД СССР число военнослужащих, получивших травмы, составило 69, а в отчете комиссии Министерства обороны СССР приводятся данные о том, что всего было травмировано 152 военнослужащих (132 ВВ, 20 СА), из них 26 человек госпитализировано (22 ВВ, 4 СА). По сообщению Прокуратуры СССР в этих событиях пострадало 189 военнослужащих.

Комиссия установила, что из 20 военнослужащих Советской Армии, упомянутых в отчете комиссии Министерства обороны, фактически в ходе рассматриваемых событий травмы получили лишь 3-е военнослужащих.

Ущерб здоровью принимавших участие в событиях 9 апреля лиц выражался как в виде травмы, отравления ОВ или их комбинациями, так и в разнообразных психо-эмоциональных расстройствах типа «синдрома массовой катастрофы».

Среди участников митинга число травмированных составило 290 человек: ушибы 40%, закрытые травмы черепа —

30%, ранения — 20%, переломы различного характера — 10%.

Выборочный анализ историй болезни и опрос пострадавших позволил установить, что большинство травм (в том числе и головы) было нанесено резиновыми палками, в 21 случае — ранения были связаны с применением малой пехотной лопатки. У лиц с тяжелыми повреждениями часто отмечались и отравления ОВ (комбинированные поражения).

Большую сложность представляет анализ протекания заболеваний лиц, обратившихся за оказанием медицинской помощи по поводу отравлений.

Комиссия особо отмечает, что факт сокрытия применения ОВ 9 апреля, затем неполная информация по этому вопросу (о применении CN—13 апреля, CS — 3 мая), запоздалое и недостаточно систематизированное взятие проб на наличие ОВ на местности затруднили диагностику и лечение пораженных, создали крайне неблагоприятную и напряженную общественную обстановку.

Это обстоятельство, равно как панические слухи, сокрытие применения ОВ, неуверенность в диагностике, а также опубликованные призывы обращаться за медицинской помощью — все это и некоторые другие обстоятельства обусловили волнообразный характер числа обращений за медпомощью на протяжении последующего месяца.

Особое место в ряду этих явлений занимают случаи «вторичных эффектов отравления» — например, вспышка обращений 28 апреля с. г. после переноса цветов от Дома правительства к церкви. Обстоятельства, связанные с этим событием, до сих пор достаточно не выяснены.

Комиссия считает, что даже в тех случаях, когда в основе жалоб на ухудшение здоровья имелись лишь указания самих пострадавших на контакт с ОВ, эти случаи с достаточным основанием можно квалифицировать как проявление «синдрома реакции на массовую катастрофу».

Всего зарегистрировано около 300 пострадавших от ОВ (среди военнослужащих 19 человек, работников милиции — 9). Основная их масса приходится на лица, получившие отравление 9 апреля на площади перед Домом правительства и в некоторых других местах проспекта Руставели. По клинической тяжести поражений они (по свидетельству комиссии Минздрава СССР) распределились следующим образом: тяжелые — 2%, средней тяжести — 7%, легкие — 91%.

Данные в отношении места, типа примененных ОВ и ха-

рактера поражения потерпевших противоречивы. Однако, благодаря результатам детального исследования проб воздуха, почвы, растений, одежды и тканей тел погибших, а также опроса пострадавших и очевидцев, Комиссии удалось в значительной степени прояснить эти вопросы. По свидетельству пострадавших, находящихся на специальном диспансерном учете, отравления химическими веществами получили: непосредственно перед Домом правительства — 49%; в районе проспекта Руставели — ул. Читадзе — 15%; около 1-й средней школы — 9%; у кинотеатра «Руставели» — 3%; в районе церкви Кашвети — 24%. Сравнительно небольшая часть участников митинга получила отравление на территории проспекта Руставели, прилегающем к площади Республики, а также на некоторых соседних улицах.

Из этих данных вытекает, что основными местами применения ОВ была площадь перед Домом правительства и район церкви Кашвети, что не совпадает с рубежами применения ОВ, указанными руководителями операции.

Как следует из отчета комиссии Министерства обороны СССР, спустя 3 недели после событий на проспекте Руставели, на участке от Дома пионеров до Дома связи, обнаруживалось присутствие CN и CS на почве и в 2-х пробах даже в атмосфере (в подземном переходе), что может косвенно свидетельствовать о применении значительного количества ОВ.

Бесспорно признанным является применение хлорацетофенона (ХАФ, CN) в виде изделий «Черемуха» и вещества CS в гранатах К-51 (ОВ раздражающего действия).

В четырех пробах грунта, взятых в районе проспекта Руставели возле Дома правительства и церкви Кашвети исследованием Республиканского Хроматомасспектрометрического центра Тбилисского государственного университета, обнаружен также хлорпикрин (ОВ удушающего действия). Его происхождение в этих пробах пока не нашло объяснений.

Опыт применения так называемых «полицейских ОВ» как у нас в стране, так и за рубежом показывает, что применение этих веществ в рамках установленных правил не приводит к тяжелым последствиям. Случаи тяжелых отравлений крайне редки, а смертельные исходы — уникальны. Картина же интоксикации участников митинга в г. Тбилиси заметно отличается от обычной для случаев применения такого вида отравляющих веществ.

Она характеризуется массовостью, значительным числом отравлений средней тяжести и тяжелых, определенными осо-

бенностями клинического проявления, в виде признаков «нейротропного» действия.

Комиссия считает, что это могло явиться результатом комбинации ряда обстоятельств и факторов:

1. Особенности метеообстановки — повышенная влажность и безветрие, что мешало рассеиванию газового облака и создавало его повышенную концентрацию.

2. Применением ОВ в плотной массе людей, лишенных возможности покинуть зараженное место.

3. Применением ОВ по свидетельствам очевидцев и пострадавших, ОВ в виде аэрозоля с предельно близкого расстояния, что могло создавать критические концентрации отравляющих веществ.

4. Сочетанием отравлений с физическими травмами и психическим стрессом, что утяжеляло клиническую картину поражения («нейротропный эффект»).

5. Возрастанием степени токсического действия ОВ на организм в ночное время в связи со снижением его сопротивляемости.

Следует отметить, что фактические данные и приведенные соображения недостаточны для того, чтобы полностью исключить вероятность отравления части пострадавших какими-либо иными неидентифицированными ОВ.

Особое место в работе Комиссии занял вопрос о выяснении непосредственных причин гибели 19 участников митинга.

Полученные Комиссией материалы и заключения различных групп экспертов давали неоднозначное толкование факторов, которые привели к гибели пострадавших.

В связи с этим Комиссия привлекла группу ученых, специалистов в области патологической анатомии и судебной медицины, которая изучила все имеющиеся материалы и пришла к заключению, что непосредственной причиной смерти всех погибших лиц, за исключением одного случая с тяжелой черепно-мозговой травмой, является удушье (асфиксия). По мнению специалистов, в развитии асфиксии играли роль два одновременно действующих фактора — как сдавление тела, так и вдыхание химических веществ, на что указывают соответствующие макро- и микроскопические данные. Сочетание вдыхания химических веществ и сдавления тела взаимно усиливали их отрицательный эффект и послужили, по мнению специалистов, причиной гибели пострадавших. В двух случаях имели место и дополнительные обстоятельства в виде наличия сопутствующих заболеваний.

Вместе с тем по имеющимся материалам точно установить в каждом конкретном случае преобладание того или иного фактора в развитии асфиксии не представляется возможным. Заключение специалистов направлено в Прокуратуру СССР.

5. Выводы и предложения

Трагедия, имевшая место 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси, гибель невинных людей глубокой болью отозвались в сердцах и сознании советского народа.

Члены Комиссии Съезда народных депутатов СССР разделяют эти чувства и выражают искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, а также всем пострадавшим в это горькое апрельское утро.

События 9 апреля нанесли ощутимый удар по перестройке, потрясли все наше общество. Проявление насилия, причинение вреда здоровью, лишение людей священного дара — жизни несовместимы с общечеловеческими моральными принципами и ценностями.

Комиссия обращается ко всем гражданам страны с призывом — самые острые проблемы, которые ставит перед нами жизнь, конфликты, недоразумения решать только политическими методами, только диалогом, только убеждением.

Комиссия призывает всех советских людей не допустить, чтобы горестные события 9 апреля с. г. в г. Тбилиси были использованы для возбуждения недоверия и недоброжелательного отношения к воинам Советской Армии.

Комиссия призывает Съезд народных депутатов, Верховный Совет СССР в первоочередном порядке разработать и принять законодательные акты, строго регламентирующие применение силы внутри страны.

На основе имеющихся материалов Комиссия Съезда народных депутатов СССР приходит к следующим выводам:

1. Причины трагических событий 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси состоят в том, что руководство республики в условиях демократизации всей общественно-политической жизни нашего общества не сумело возглавить остро и динамично развивающиеся перестроечные процессы в Грузии, должным образом оценить ситуацию в республике и принять адекватные политические решения.

Политическую и иную ответственность за трагические последствия событий 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси несут

бывшие секретари ЦК Компартии Грузии Патиашвили Д. И. и Никольский Б. В.

2. Уголовную, политическую, моральную и ответственность за свои действия должны нести организаторы несанкционированного митинга у Дома правительства (Церетели И., Гамсахурдиа З., Чантурия Г. и другие лидеры неформальных организаций), которые допустили в ходе его проведения различные нарушения общественного порядка, призывали к невыполнению законных требований властей, а когда создалась реальная угроза применения вооруженной силы — не приняли мер к его прекращению, не попытавшись, таким образом, воспрепятствовать трагическому исходу событий.

3. Решение о направлении в Грузию подразделений внутренних войск, Советской Армии и специальных подразделений милиции было оформлено директивой Генерального Штаба Министерства обороны СССР (т. Моисеев М. А.) и приказом по Министерству внутренних дел СССР (т. Шилов И. Ф.) после совещания в ЦК КПСС 07.04.89 г. (председательствующий т. Лигачев Е. К.). Поскольку речь шла не просто о передислокации войск, а фактически об осуществлении действий, вводящих отдельные элементы режима особого положения в г. Тбилиси с установлением контроля на въездах и выездах из города, взятием под охрану важнейших общественных и государственных зданий и других объектов — следует признать, что указанные решения были приняты с грубым нарушением закона.

4. Распоряжение Совета Министров Грузии (т. Чхеидзе З. А.) от 8 апреля 1989 г. об освобождении от митингующих площади перед Домом правительства и осуществлении других мер по охране общественного порядка в части привлечения внутренних войск и подразделений Советской Армии является незаконным, так как действующее законодательство не наделяет правительство республики такими полномочиями.

5. При подготовке и проведении операции по освобождению площади были допущены серьезные нарушения, выразившиеся в том, что план операции не был откорректирован в соответствии с реально сложившейся ситуацией. Он был недостаточно проработан командирами подразделений, рекогносцировка не проводилась, к участию в операции не были в должной мере привлечены силы и средства УВД Тбилисского горисполкома. Вопреки приказу Министра обороны СССР парашютно-десантные подразделения были использованы не для охраны объектов, а для вытеснения митингующих. Были до

пущены грубые нарушения порядка применения спецсредств, в частности, использованы нетабельные спецсредства (изделия К-51), недозволенным образом применялись резиновые палки и малые пехотные лопатки.

Персональную ответственность за указанные нарушения и просчеты, которые привели к трагическим последствиям, несут генералы Кочетов К. А., Родионов И. Н., Ефимов Ю. Т.

Должную меру ответственности несет и министр внутренних дел Грузии Горгодзе Ш. В., который самоустранился от исполнения своих прямых обязанностей.

6. По мнению Комиссии, должны быть привлечены к служебной и иным формам ответственности должностные лица, отдавшие приказ о применении к участникам митинга 9 апреля в г. Тбилиси специальных средств и техники, которые, согласно действующим положениям, «используются в исключительных случаях, для пресечения массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, бесчинствами, разрушениями, поджогами, отражения группового нападения на служебные и административные здания, помещения общественных организаций и другие важные объекты, а также в случаях, когда насильственные действия нарушителей общественного порядка угрожают жизни и здоровью граждан, работников органов внутренних войск, народных дружинников». Комиссия установила, что 9 апреля 1989 г. в г. Тбилиси оснований для применения указанных мер не было.

7. В процессе операции по пресечению митинга по освобождению площади перед Домом правительства и проспекта Руставели были причинены телесные повреждения различной степени тяжести (включая поражения от применения спецсредств — слезоточивых газов) участникам митинга, военнослужащим внутренних войск и Советской Армии, работникам милиции. Погибло 19 участников митинга (в основном женщины). Комиссия усматривает необходимость уголовной ответственности конкретных лиц, виновных в гибели людей и причинении тяжких телесных повреждений.

8. Необходимо также решить вопрос об ответственности лиц:

— нарушивших п. 59 Устава боевой службы внутренних войск, который запрещает применение специальных средств «Черемуха» против женщин, подростков, детей и в других особо оговоренных случаях;

— нарушивших действующие положения, согласно которым категорически запрещается применять резиновую палку

в отношении женщин, детей, престарелых, инвалидов с явными признаками инвалидности, а также наносить удары по лицу и голове;

— применивших на заключительном этапе операции по вытеснению митингующих изделия со слезоточивым газом CS, не разрешенным к применению во внутренних войсках.

9. Комиссия ставит вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушения гарантированных прав и законных интересов граждан при введении и осуществлении комендантского часа в г. Тбилиси.

10. Политическую, моральную, а в необходимых случаях и правовую ответственность должны нести работники партийных и государственных органов, допустившие сокрытие или искажение информации о событиях 9 апреля 1989 г., а также командиры подразделений внутренних войск, пытавшиеся скрыть факт применения спецсредств типа «Черемуха» и изделия К-51, содержавшего газ CS.

11. Комиссия отмечает, что в периодической печати появилось немало материалов, основанных на слухах, догадках, ложных сообщениях и искаженно воспроизводящих картину реально происходивших событий. Некоторые из них были использованы и в официальных документах. Так, Комиссия не нашла доказательств существования и действия на площади специально сформированных групп боевиков из числа экстремистски настроенных лиц, а также доказательств того, что первые раненые и убитые якобы появились еще до соприкосновения войск с митингующими.

Не нашли подтверждения также широко распространенные сведения о множестве людей якобы пропавших без вести после 9 апреля, о применении участниками митинга специально подготовленного холодного и огнестрельного оружия.

Комиссия констатирует отсутствие фактов, подтверждающих заявление генерала Родионова И. Н. на съезде чародных депутатов СССР о том, что к 9 апреля «создавалась реальная угроза захвата жизненно важных объектов республики». Ни в докладах органов КГБ, ни в официальных сообщениях МВД республики, ни в каком-либо ином документе не содержится конкретных фактов подобного рода.

Комиссия отмечает, что положительным моментом в урегулировании конфликтов между гражданами и военнослужащими во время действующего комендантского часа в г. Тбилиси явились организованные действия бывших афганцев-ин-

тернационалистов, что способствовало нормализации обстановки. Комиссия также отмечает, что многие работники милиции, исполняя свои служебные обязанности в сложных, неординарных условиях, не только содействовали медицинскому персоналу в эвакуации пострадавших, но и сами оказывали необходимую помощь травмированным и голодающим гражданам.

В заключение Комиссия вносит на рассмотрение компетентных государственных органов следующие предложения:

1. Партийные органы, соответственно дававшие согласие или принимавшие на союзном или республиканском уровнях решения о направлении войск и проведении данной операции, действовали по давно заведенному незаконному порядку и вразрез с решениями XIX партконференции о необходимости разграничения функций партийных и государственных органов. В правовом государстве решения партийных органов любого уровня могут приобретать обязательное значение для органов государственной власти и управления, включая армию, лишь после того, как они воплотятся в правовом акте компетентного органа государства — законе либо постановлении правительства.

В этой связи назрела неотложная необходимость ускорить практическое разделение функций партийных и государственных органов путем внесения необходимых изменений в действующее законодательство и соответствующие партийные документы.

2. События 9 апреля с. г. в г. Тбилиси показали явные пробелы в действующем законодательстве и практике принятия важнейших государственных решений о введении особого или чрезвычайного положения, комендантского часа, об использовании подразделений Советской Армии для охраны и восстановления общественного порядка внутри страны, в частности, о возможности использования вооруженных сил для разрешения внутренних конфликтов непосредственно на основе решений, принятых партийными, а не государственными органами.

Требуется ясная и исчерпывающая законодательная регламентация содержания и порядка введения военного (на случай вооруженных конфликтов), особого (на случай внутренних волнений) и чрезвычайного (на случай бедствий) положения. Исключив ситуацию, создавшуюся в г. Тбилиси, когда введение комендантского часа поставило подразделение Советской Армии перед задачей поддержания общественного порядка, что должно решаться лишь силами МВД.

3. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос об увеличении численности внутренних войск и комплектовании их преимущественно на профессиональных началах. Необходимо законодательно определить порядок и механизм использования подразделений внутренних войск республиканского и союзного подчинения.

4. Необходимо в законодательном порядке запретить использование Советской Армии для ликвидации массовых беспорядков, предусмотрев возможность использования армейских подразделений в этих целях лишь в виде исключения в случаях, прямо предусмотренных законом — по решению в каждом отдельном случае Председателя Верховного Совета СССР с последующим сообщением Верховному Совету СССР.

5. Нуждаются в законодательном закреплении права и обязанности личного состава милиции и внутренних войск при выполнении ими обязанностей, связанных с пресечением противоправных действий и массовых беспорядков.

6. Комиссия обращает внимание на необходимость усиления следственной группы по данному делу за счет привлечения работников Прокуратуры Грузинской ССР и принятия других дополнительных мер для скорейшего завершения предварительного следствия по делу, возбужденному в связи с событиями 9 апреля 1989 г. в г. Тбилиси.

7. Нуждаются в законодательном закреплении полномочия парламентских комиссий, создаваемых Съездом народных депутатов и Верховным Советом СССР, в частности, необходимо предусмотреть ответственность должностных лиц за дачу Комиссиям заведомо ложных показаний.

Комиссия выражает признательность государственным и общественным организациям, а также всем гражданам и должностным лицам, которые оказали содействие в ее работе и помогли установлению истины.

Председатель Комиссии: А. А. Собчак.

Заместители председателя Комиссии: Х. Ю. Аасмяэ, А. И. Голяков, В. П. Томкус

Ответственный секретарь Комиссии: С. С. Станкевич.

Члены Комиссии: С. А. Андромати, Н. П. Бехтерева, Г. А. Боровик, Б. Л. Васильев, О. Г. Газенко, В. Л. Говоров, Д. С. Лихачев, В. П. Лукин, В. А. Мартиросян, В. М. Мирошник, Н. А. Назарбаев, К. В. Нечаев, Р. К. Оджиев, Р. З. Сагдеев, В. Ф. Голпежников, В. И. Федотова, Э. Н. Шенгелая, П. В. Шетько, А. М. Яковлев.



Давид САГИРАШВИЛИ

Оглядываясь назад

* * *

У талантливого грузинского романиста Михаила Джавахишвили, позже расстрелянного Сталиным, в романе «Квачи Квачантирадзе» выведен интересный тип, продукт времени после Февральской революции. Квачи (это имя стало синонимом пройдохи) весьма деятелен. Он успевает быть везде, на всех собраниях, в различных комитетах и организациях. Выступает часто с речами, говорит больше всех, пишет и т. д. Одним словом, он, 'Квачи, вездесущ. Порою кажется, что ему не хватает 24 часов в сутки. Рождение этого «необыкновенного» человека ознаменовалось в природе, по замыслу автора романа, особыми явлениями. Гром гремел, молния сверкала, буря бушевала, гора близ родительского дома будущего «героя» Квачи дрожала и как будто собиралась сойти с места... Вот в эту бушующую и страшную ночь вдруг ярчайше сверкнула молния, оглушительно прогремел гром, и в этот момент появился на свет Божий наш Квачи. Гора родила мышь...

А вот рождение человека, который весь современный мир поверг в ужас, рождение Сосо Джугашвили, позднее Кобы, еще позднее просто Сталина, а потом Сталина-диктатора уже почти одной четверти света, прошло незамеченным природой. По словам Васо Цабадзе и Михаила Чодришвили, живших рядом с родителями Сталина, с которыми и я был близко знаком, мать будущего диктатора разрешилась от бремени в грузинской арбе, шедшей на поклонение особо почитаемой иконе в

церкви «Горис-Джвари». Родился ребенок в ночь на 21 декабря 1879 года, совсем незаметный для света, которого назвали Сосо — Иосиф. Отец его Виссарион, сапожник в маленьком городе Гори, лежащем в 80 километрах от Тифлиса, насчитывающем тогда не более двадцати тысяч населения, был отъявленным пьяницей. Мать Сталина, скромная набожная грузинка, хотела бы видеть своего сына духовным лицом, священником. В том, что ее сын Сосо родился в дороге, когда она ехала на поклонение святой иконе, набожная женщина усмотрела волю Божию и поэтому Сосо, по ее мнению, должен быть посвящен Богу. Могла ли подозревать бедная мать, что ее Сосо будет поклоняться не Богу, а скорее дьяволу или, что вернее, даже дьявола заставит поклоняться себе. Отец был другого мнения. Он хотел, чтобы его отпрыск унаследовал его ремесло. Он и заставлял Сосо еще ребенком работать, учиться сапожному ремеслу. (Жаль, что не суждено было Сосо остаться сапожником, это избавило бы свет от одного диктатора). От пьяного отца мальчику нередко доставалось. Только заступничество любящей матери спасало маленького мальчика от жестокой расправы. Работа у маленького Сосо валилась из рук. Его тянуло на улицу к сверстникам, с которыми, однако, он был весьма груб. Любил командовать ими, всегда старался быть первым.

Давид Сагирашвили, один из видных представителей социал-демократического движения в Грузии, родился в Тбилиси 15 января 1887 года. Будучи совсем молодым, участвует в революционном движении тбилисских рабочих. В 1898 году познакомился с Иосифом Джугашвили (Сталиным). В 1908—1909 годах принимал участие в революции в Персии, направленной против шаха Ирана Ага-Махмад-хана Каджара. В 1910 году Д. Сагирашвили вернулся из Персии в Грузию, где был арестован царской жандармерией и заключен в Метехскую тюрьму. Отсюда по этапу через Баку он был переведен в тюрьму Ростова-на-Дону. В 1912 году Д. Сагирашвили сдал в Ростове-на-Дону экзамены на получение аттестата зрелости, но в университет так и не попал, поскольку снова был арестован за нелегальную борьбу против царского режима.

В 1913 году освобожденный из тюрьмы Д. Сагирашвили вернулся в Тбилиси и вновь окунулся в революционное движение... Вместе с В. Ахметели, В. Дарчиашвили и другими основал еженедельную социал-демократического направления газету «Пикри».

С восьми лет Сосо определяют в местную приходскую школу в Гори. Учится он неплохо, но и здесь с первых же дней проявляется его характер. Казалось, в мальчике сидит злое начало, и учителям порою трудно было справиться с ним. Нередко получает маленький Сосо от своих учителей пощечины. Естественно, он еще больше озлобляется. После окончания трехгодичной приходской школы, по настоянию матери и священника Эгнаташвили, имевшего в Гори приход, двенадцатилетнего Сосо определили в духовное училище там же в Гори. И здесь проявляется его своенравный характер. Он всегда и неизменно — во главе всевозможных бесчинств, организует их, руководит. Доходит до того, что его хотят исключить из училища, но внемля мольбам несчастной матери и ходатайствам названного священника и еще потому, что хорошо учится, ему дают закончить духовное училище. В это время Сосо уже 16 лет. Отец думает, что учение закончено и сын должен теперь зарабатывать, но мать — другого мнения. И вот разыгрывается семейная драма, главным участником которой является сам Сосо. Он берет сторону матери и решительно заявляет отцу, что если он добровольно не ступит его в Тифлис в духовную семинарию, куда обыкновенно определялись молодые люди после окончания духовного училища, он поедет сам. И священник Эгнаташвили уговаривал от-

которая выходила в 1913—1914 годах. В 1914 году жандармерия вновь арестовала Д. Сагирашвили и вторично заключила в Метехи.

Когда Россию охватило пламя первой мировой войны, Давида Сагирашвили сослали в Харьков, где он поступил на экономический факультет университета, но в 1915 году за участие в студенческих волнениях вновь был арестован — уже в четвертый раз — и сослан сначала в Белгород, а затем в Царицын, где и застала его Февральская революция 1917 года. Он был избран председателем Совета рабочих и солдатских депутатов.

В 1920 году Давид Сагирашвили вместе с Григолом Уратадзе отправился в Москву как представитель правительства Грузии для заключения с правительством Советской России мирного договора, который был подписан 7 мая 1920 года.

Давид Сагирашвили не уехал в эмиграцию с правительством независимой Грузии, он остался в Грузии и вскоре оказался в Метехской тюрьме, где провел 14 месяцев. В 1922 году он вместе с другими 62 грузинами-политзаключенными (Ноз Цинцадзе, Ка-

ца Сосо согласился на желание матери и сына. Победа осталась за ними. Итак, Сосо Джугашвили переехал в 1895 году в Тифлис, куда его давно манило. Что представлял собой городок Гори в сравнении с Тифлисом, столицей Грузии и всего Кавказа? Это было время, когда народническое движение в Грузии шло на убыль и возрождалось новое течение в общественно-политической жизни страны, так называемое «Месаме Даси» с социалистическими тенденциями марксистского толка. И вот удивительно, казалось бы наш Сосо должен был быть расположен к восприятию этих интернационально-космополитических идей, но нет, в это время он — ярый националист, он посылает свои юношеские стихи в газету «Иверия», руководимую таким патриотом (одновременно блестящим поэтом, государственным и общественным деятелем), как князь Илья Чавчавадзе, прозванный народом за его высокий ум и дарования невенчанным царем Грузии. Сосо зачитывается также произведениями известного грузинского писателя Александра Казбеги (псевдоним «Мочхубаридзе», т. е. тот, кто постоянно дерется). И действительно, этот писатель постоянно восставал против русского владычества в Грузии и вообще на Кавказе. Произведения этого неистового борца за права Грузии и Кавказа — сплошное бичевание царской власти, принесшей в Грузию «неисчислимыя бедствия, меч, огонь и страдания», как выражается сам писатель. Увлечшись героями Казбеги-Мочхубаридзе, писавшего чрезвычайно талантливо и образно на прекрасном грузинском языке, Сосо называет себя

листратэ Салия, Давидом Буачидзе, Ваном Алиханашвили и др.) был выслан в Германию.

До 1945 года Д. Сагирашвили жил в Берлине, где вел литературную деятельность: писал на грузинском, русском и немецком языках. В 1927 году он вышел из рядов социал-демократической партии и с тех пор ни в одну партию не вступал. Его супруга по происхождению финка — Альма Сайранен (поженились они в 1917 году) — прекрасно владела грузинским.

После второй мировой войны Давид Сагирашвили переехал сначала в Австрию, затем в Италию, а в 1958 году вернулся в Германию, в Мюнхен, где вместе с Арчилом Метревели издавал на грузинском и русском языках газету «Самшоблос гантависуплебисатвис» («За освобождение Родины»). Затем он перебрался в США, где и скончался в 1962 году, в Вашингтоне, в возрасте 75 лет.

именем героя его повести «Отцеубийца» Коба, который мужественно борется со своею дружиною с вторгшимися в Грузию русскими войсками. Впоследствии Сосо Джугашвили, став ярким большевиком, будет больше известен на Кавказе как Коба, нежели по своей настоящей фамилии.

Увлечение патриотизмом длилось до 20 лет. Это было время, когда в Тифлисе, отчасти и в Батуми зарождалось рабочее движение, преимущественно среди ремесленников. Судьбе угодно было, чтобы молодой Сосо, благодаря близкому знакомству с Закро Чодришвили, одним из рабочих-революционеров, попал в его «кружок рабочих». Старший брат Закро Чодришвили, Михаил, имел столярную мастерскую на Михайловской улице, теперь переименованной в улицу Плеханова, основоположника русского марксизма. Жена у Чодришвили была русская. Она могла быть моделью для Льва Толстого, описавшего участь Катюши Масловой в своем знаменитом романе «Воскресенье». Судьба Марии, будущей жены Чодришвили, похожа на судьбу Масловой, но она оказалась счастливее Катюши. Чодришвили встретился с ней в публичном доме, она так понравилась ему, что он взял ее оттуда и женился. Он не ошибся. Она оказалась примерной женой, верной, преданной, сопровождала его в ссылки и самоотверженно помогала сидящим в тюрьмах. Многие, познакомившись с ней, называли ее святой женщиной за ее скромный характер, добродушие и отзывчивость.

Братьев Чодришвили я часто посещал. Сталина впервые

Предлагаем читателю отрывки из книги Д. Сагирашвили «Сталин-Джугашвили как историческое лицо (по личным воспоминаниям)», любезно предоставленной мне его дочерью Этери Сагирашвили в бытность мою в научной командировке в Париже.

Воспоминания написаны по-русски, в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Они интересны тем, что представляют собой взгляд как бы изнутри, взгляд, безусловно, субъективный, но не лишенный общественного интереса, на тот временной отрезок истории и личности, действовавшие в нем, которые предопределили развитие нашего общества и привели нас к сегодняшнему дню.

Стиль автора сохранен.

Гурам ШАРАДЗЕ,
доктор филологических наук

я встретил в их доме в 1898 году, когда я был еще мальчиком 11—12 лет. Он произвел на меня тогда какое-то особенное впечатление. Помню, я был удивлен и даже возмущен, когда узнал, что его уволили из духовной семинарии. Он был одет плохо, неряшливо, как истый нигилист, что было в моде тогда среди русской интеллигенции, особенно у революционеров. На худом продолговатом лице ясно были видны следы ослы, что производило неприятное впечатление. Но в глазах, как будто ничего не говорящих, искрились какие-то едва уловимые лучи не то добра, не то зла. Как мог я тогда предположить, что в этом человеке сидит сам дьявол, который должен был залить морем крови обширную страну и его собственную родину — Грузию.

Он отлично говорил на чистом грузинском языке, выразительно, не без юмора, и собеседник сразу же мог заметить в нем силу воли и настойчивость. Он у Чодришвили просидел недолго и, вдруг прервав разговор, встал и, прощаясь, похлопал меня по плечу, пожелал мне стать на путь борьбы за светлое будущее. После ухода этого, в моих глазах необыкновенного, полного тайн, человека, Михаил Чодришвили передал подробности его жизни, сказав, что «вот этот и есть тот человек, которого зовут Коба». Я хорошо знал повесть Александра Казбеги «Отцеубийца», что еще более привлекло мое внимание к этому человеку. В кружке Чодришвили собирались регулярно передовые рабочие Тбилиси, здесь вырабатывались планы борьбы за улучшение быта рабочего класса, вначале преимущественно экономического характера. Впервые молодой Коба именно здесь заражается революционным духом. В это же время в Тифлисской духовной семинарии семинаристы старших классов образуют первый марксистский кружок. Сосо Джугашвили к этому кружку не принадлежал, но, конечно, знал о существовании его, был знаком с видными членами этого кружка. Под влиянием этих людей Сосо Джугашвили живо и по-своему воспринимает марксистское учение с неумолимой борьбой с миром капитализма, с поработителем рабочих, о «войне дворцам и мире хижинам». Литература этого кружка не однородна. Здесь зачитываются Герценом, Бакуниным, Чернышевским, Михайловским, Добролюбовым, Писаревым, ну и, конечно, Марксом, Энгельсом, Каутским, Бланком, Прудонем, Фурье, Сен-Симоном, Руссо и т. д. И вот под влиянием, с одной стороны, рабочего кружка Чодришвили, с другой, кружка в духовной семинарии, образ мыслей молодого Сосо радикализуется. Он стал по-большевистски мыслить, еще не

будучи большевиком. Сосо нравится Бакунин, пропагандирующий уничтожение существующего строя насильем, всеми доступными средствами. Если в семинарии он вначале учился хорошо, пел в церковном хоре на русском и грузинском языках, то со временем начинает ненавидеть все это. Его поведение по отношению к воспитателям, кстати тоже грубым и зараженным русификаторскими идеями, вызывающе. Знаменательно, что именно из таких духовных семинарий не только в Грузии, но и в России выходили подчас самые радикально мыслящие социалисты-революционеры, такие как Чернышевский, Добролюбов и др. А из Тифлисской духовной семинарии вышел целый ряд марксистов — Ноэ Жордания, впоследствии президент Национального Правительства Грузии, Джибладзе, Девдариани, Владимир Ахметели и, наконец, будущий диктатор Сталин. Из духовной семинарии его (наконец выгоняют с четвертого класса за «неисправимые нравы», как сказано в увольнительном аттестате. Сосо было в это время 19 лет. Его жизнь с этого момента принимает особый отпечаток. Он окончательно порывает с мыслью стать когда-нибудь духовным отцом, священником, к великому огорчению матери, и всецело посвящает себя «революционному делу», как он его понимает. В представлении Сосо Джугашвили революционная деятельность заключается в разбойничьих нападениях, и потому самые лучшие революционеры это разбойники. Главное — это вредить и разрушать существующий строй, убивать и грабить представителей его, не брезгуя никакими средствами. Поэтому-то среди тифлисских сознательных рабочих, честных и работлюбивых, стремившихся к улучшению своего материального и правового положения, Сосо не находил поддержки. Его среда — преимущественно сошедшие с жизненной колени молодые люди, ничему не научившиеся, к правильному труду не способные, а подчас и явные грабители. Вот в этом «обществе» — он первый. Их мало, но это не смущает Кобу. Тифлисские рабочие его не любили и близко к себе не допускали. Это, безусловно, его озлобляло, но он никогда не показывал вида. Сколько раз приходилось видеть его на улицах Тифлиса худосочного, с рябым лицом. Пальто у него было всегда нараспашку, шляпа полинявшая, обувь заплатанная и в пыли. Кто мог тогда представить, что этот невзрачный человек, выпавший из жизненной колени, станет властвовать сначала над огромной страной Россией, потом над четвертою частью света и будет домогаться власти над всем миром. Хотя он, по-видимому, верил в свою восходящую звезду. Известны

его слова, обращенные к матери, которая умоляла сына оставить «бродяжничество», как она называла его праздничатание. Сосо в таких случаях в ответ отшучивался: «Нет, мама, не мешай моей работе, вот увидишь, свергнем царя Николая, я сяду на его место, а ты же будешь сидеть во дворце Наместника на Кавказе в Тифлисе», — и указывал пальцем в направлении дворца. Эти слова, сказанные в шутку, оправдались полностью. Он сидел в Кремле почти 30 лет, а мать его действительно занимала одно время покои во дворце наместника в Тифлисе.

На Сосо Джугашвили большое влияние имел один из грузинских революционеров, Ладо Кецховели, который происходил из той же местности, откуда Сосо, из Гори. Ладо Кецховели за свою революционную работу попал в тюрьму, в Тифлисский «Метехский замок», во времена грузинских царей бывший неприступным замком и одновременно арсеналом боевых припасов, но с появлением русской власти в Грузии переделанный в тюрьму для заключенных. Кецховели был убит стражем тюрьмы, когда сидел у окна за решеткою. Это было первое убийство политического заключенного. Эта весть потрясла всю Грузию, да не только Грузию, но и весь Кавказ. На молодого Сосо это подействовало особенно сильно. Я видел его в эти дни в доме Ахметели, где он бывал часто. Его гнев не было конца. Его непримиримость к русской власти еще более усилилась этим событием. Кецховели был для него как бы учителем по революционной работе. И если кто-нибудь мог сдерживать его дурные порывы, так это Ладо Кецховели. Его не стало и для Сосо уже не было никаких сдерживающих факторов.

* * *

Какая ирония судьбы! Мать Сосо хотела, чтобы ее сын вышел из духовной семинарии священником, отцом Виссарионом — она уже предназначила ему духовное имя, а он, уволенный из семинарии, после многих перипетий, становится большевиком, приверженцем Ленина. Как известно, вначале единая так называемая «Российская социал-демократическая рабочая партия» в 1903 году на Лондонском съезде партии раскололась на большевиков во главе с Лениным и меньшевиков во главе с Мартовым, Плехановым, Аксельродом. Сосо Джугашвили, не будучи лично знаком с Лениным, но духовно имея с ним много общего, немедленно примыкает к нему. Организует в Тбилиси из немногих лиц кружок и называет его


партиею, о чем сообщает Ленину. Ему нет места в Грузии, рабочие его не любят и неохотно слушают, но он, упорный по природе, озлобленный таким отношением к нему, все же не теряет надежду покорить сердца грузинских рабочих. И вот, когда раскол единой партии стал фактом, среди местных передовых рабочих, естественно, появилась потребность обсудить спорные вопросы. Помню одно такое собрание рабочих, на котором присутствовал и я, еще будучи школьником, (1904 г.). В качестве представителя большевиков явился на собрание сам Коба. Он явился со множеством книг, нелегальными брошюрами, номером журнала «Искра», издаваемого за границей. Завязался спор между Кобой и представителем грузинской социал-демократии Рамишвили (позднее министр внутренних дел независимой Грузии, убит в изгнании, в Париже, агентом Сталина). Коба вначале держался спокойно, владел собою, избегал резких выражений, но когда почувствовал, что симпатии собрания склоняются на сторону его противника Рамишвили, начал раздражаться, делать выпады с места, назвал всех мелкими буржуями, в конце выругал всех и с двумя или тремя сторонниками покинул собрание. Васо Цабадзе, председательствующий на собрании, предложил поскорее закрыть собрание и разойтись. Он был близко знаком с Джугашвили — из того же города, где родился Сталин. Мотив такого предложения мы узнали позже, когда в Баку в 1907 году провалилась нелегальная типография социал-демократической организации. Ходили упорные слухи, что выдал место типографии Коба. Все, кто его близко знали, уверяли, что от него можно было ожидать все. Васо Цабадзе убежден был в этом и говорил, что такое «свинство» мог сделать только он. Сталин тоже очень хорошо знал, как смотрел Цабадзе на него. Поэтому, когда в 1924 году грузинский народ восстал против советской власти и это всенародное движение было подавлено военной силою, Цабадзе, арестованного за несколько месяцев до восстания, вывели из тюрьмы и по приказу Сталина расстреляли.

Коба — Сосо Джугашвили, видя явное нерасположение грузинских рабочих к себе, наконец оставляет Грузию и на долгое время переезжает в Баку, где состав рабочих чрезвычайно пестр. Здесь и татары, армяне, русские, украинцы, айсоры, греки и т. д. Вот настоящее поле деятельности для такого человека, как Коба! Но и здесь постигает его неудача. Дело в том, что в Баку в это время работал пропагандист, социал-демократ Исидор Рамишвили, член Первой Государственной

Думы, народный учитель и блестящий оратор. Иендор Рамишвили и другие социал-демократы в Баку, так же, как в Грузии, стремятся создать настоящее солидное рабочее движение, ставящее целью благоденствие рабочих, организуя, спланивая и пробуждая в них политическое самосознание. Но для Кобы это буржуазная «интеллигентная работа», как он выражается. Он ищет и здесь преимущественно криминальных типов, по его словам, «горячие головы». Их мало, но это его не тревожит, лишь бы они ему были преданны. Пусть эти молодые люди сойдут с пути политической борьбы, пусть стремятся легким путем — грабежом, вымогательством, «экспроприацией», как тогда говорили, — добывать себе средства для разгульной жизни, Кобу это не беспокоит. Наоборот, он их поддерживал, поощрял, создавая вокруг этих головорезов ореол революционных бойцов, жертвовавших часто своей жизнью. И действительно, многие из этих молодых людей погибали в столкновении с полицией и с аппаратом власти. Но за что? За грабеж, за нападения, за вымогательство крупных сумм у бакинских богачей, за похищение их детей среди белого дня и последующего требования о выкупе якобы от имени «революционных комитетов». Первоначальный успех был громадный. «Бедные богачи», желая спасти своих детей, скрепя сердце, шли на всякие требования со стороны анонимных «комитетов». Успех вскружил многим молодым людям головы, организовывалось множество комитетов под причудливыми названиями: Комитет федералистов, анархистов, социалистов-революционеров, Комитет Смерти, на бланках которого был нарисован череп с костями. Психоз был страшный и заразительный, пока власти не предприняли энергичные меры, вплоть до смертной казни. С другой стороны, настоящие, серьезные, подлинные рабочие организации, видя компрометацию освободительно-революционного движения, вмешались в эту борьбу и положили конец деятельности зловредных личностей. В Америке подобные дела называются гангстерством, для Кобы это было революционное движение. Надо сказать, что сам Коба Джугашвили не принимал непосредственного участия в нападениях. Он только организовывал и возглавлял «эти дела». Одним из таких нашумевших дел было ограбление фаэтона, в котором перевозились деньги из Тифлисского казначейства, произведенное среди белого дня в Тбилиси в 1907 году. Один из нападавших по прозвищу Камо, большевик, был переодет в форму офицера службы. Теперь одна из улиц Тифлиса названа его именем.

Здесь не будет лишним познакомиться с главным участником нападения Камо.

Семен Петросян, или Камо, по национальности армянин из Гори, почти огрузинившийся. Учился мало и с детства посвятил себя революционной деятельности, как он ее понимал, т. е. нападал и грабил. Другой род работы ему казался мелкобуржуазным, мещанским, хотя его родители были торговцами, с которыми наша семья состояла в близких отношениях. Камо Петросян с самого детства отличался какими-то странностями. Окружающие его часто звали сумасшедшим. После ограбления на Эриванской площади ему удалось бежать за границу, русское правительство разыскивало его везде по европейским странам, и наконец он был схвачен в Берлине немецкими властями. По требованию русского правительства его ожидала выдача России, как обыкновенного преступника, и тогда Камо прикинулся сумасшедшим. В камере тюрьмы Альт-Моабит он выкидывал такие странности, что приводил немецких надзирателей в недоумение. Они убеждались, что этот кавказский человек действительно сошел с ума. Пищу не принимал, клал ее на подоконник и приманивал птиц, они даже залетали к нему в камеру. Тогда он начинал говорить с ними на каком-то непонятном языке, свистел целыми днями, а птицы как будто отвечали ему громким чириканьем. Симуляция была полная. Немецкие врачи признали его совершенно ненормальным, хотя есть основание думать, что подобному заключению врачей немало способствовал известный социал-демократ Парвус, усердно помогавший Ленину проехать в запломбированном вагоне через Германию во время еще не закончившейся первой мировой войны. Камо Петросяна, несмотря на заключение немецких врачей, германское правительство все же выдало русскому правительству. Он был доставлен в Тбилиси, заключен в Метехский замок, предан суду — ему грозила смертная казнь — но до суда загадочно сбежал из тюрьмы. Организатором бегства Камо был его зять Котэ Цинцадзе. У этого большевика были особые способности организовывать бегства из заключения политических преступников. Бегство Камо организовано было следующим образом: жене ключника тюрьмы, где был заключен Камо, была послана посылка, в которой лежало сто рублей (тогда большие деньги), напильник и письмо, в котором предлагалось выбрать одно из двух: или помочь бежать Камо и взять сто рублей или неминуемая смерть. Причем сообщалось, что ему не будет грозить никакой опасности со стороны начальства, так



как вечером при проверке в камере заключенных Петросян будет на месте. Ночью, переодетого в солдатскую форму Камо выпустят из камеры и из корпуса — во двор тюрьмы. В ту же ночь будет перепилена решетка камеры, где содержался Камо. И когда утром при проверке его не окажется и начальство увидит перепиленную решетку, всякое подозрение от ключника отпадет. Естественно, перед несчастным ключником встала альтернатива: сто рублей или смерть. И после долгих колебаний, пожалев жену и детей, он с сокрушенным сердцем поддается соблазну. То же самое предлагалось и призраатнику, причем от него требовалось еще меньше — пропустить через последние ворота переодетого в солдатскую форму Камо. Котэ Цинцадзе, узнав, что напильники доставлены Камо, энергично взялся за выполнение замысла. Разными путями удается послать Камо солдатскую форму. В час побега около тюрьмы стоит фаэтон и в нем приличное платье и ботинки. Приготовлено также временное нелегальное убежище, благо город Тифлис представляет хорошее убежище для преследуемых властью, особенно старая его часть, окруженная садами: Ортачала, Крцаниси и т. д. Здесь в этих садах, особенно в Ортачала, начиная с весны и до поздней осени происходили непрекращающиеся гулянья-празднества и пикники тифлисских амкари, своего рода цехов, профессиональных объединений ремесленников. Благодаря этому обстоятельству в этих садах часто устраивались съезды, конференции и нелегальные собрания. Сады представляли абсолютную безопасность для революционеров. Собственники, преимущественно грузины, все поголовно были заражены революционным духом. И вот этот Камо Петросян, главный участник группы, ограбившей на улице большого города фаэтон с деньгами, нашел первое убежище в этих садах. Но, конечно, замысел и организация этого «прекрасного» дела, как назвал его Ленин, принадлежала Кобе, тогда уже известному на всем Кавказе большевику. Деньги были доставлены в Женеву самому Ленину, а Литвинов, имея связи с банковскими владельцами, их реализовал. Такого рода ограбления казенных и общественных денег, или, как тогда это называли красивым иностранным словом, экспроприация, стали обычным явлением. В Гори, в родном городе Сталина, было похищено 300 000 рублей группой грузинских федералистов во главе с офицером русской службы Сосо Гедеванишвили. То же Сосо?! Эта группа была переодета в форму русских солдат, сменявших караул, разводящим офицером ее был Сосо Гедеванишвили. Сосо Джугашвили был убежденным «теоре-

тиком» таких действий, считая это верным средством борьбы против царского самодержавия и вообще против современного «буржуазного» общества. «Буржуа», по понятиям Сосо, означало какое-то страшное позорное существо, подлежащее беспощадному уничтожению.

За такое большое дело, как ограбление на Эриванской площади, Ленин оценил Сосо Джугашвили по достоинству. И вот, когда за свою неустанную «революционную» работу в подполье он попал в тюрьму и был выслан в Сибирь, завязывается переписка между Лениным и им. Его статьи, посылаемые для печатания в нелегальном журнале в Женеве, получают самые лучшие отзывы Ленина, он считает их ортодоксально большевистскими. Сосо Джугашвили впервые в Сибири свои письма и статьи подписывает псевдонимом «Сталин». Почти все теперь убеждены, что Сталин этот псевдоним выбрал потому, что сам себя считал крепким, как сталь, человеком. Иные думают, что это Ленин назвал Иосифа Джугашвили Сталиным. Это не так. Слово «Сталин» происходит от фамилии Джугашвили. Эта грузинская фамилия включает в себе два грузинских слова: «джуга», что означает на древнегрузинском языке сталь, по определению известного всей Европе писателя Григола Робакидзе, а «швили» — сын. Таким образом, в переводе на русский язык «Джугашвили» значит Сталинов или Сталин. И вышло так, что одновременно получился перевод фамилии на русский язык, и новый псевдоним соответствовал внутреннему характеру этого человека, действительно крепкого, как сталь.

В этом контексте уместно задать вопрос: все же к какой национальности принадлежит Сталин? По утверждению некоторых лиц, отец Сталина по происхождению осетин. Известный осетинский журналист Алихан Кантемир думает, что фамилия Джугашвили — осетинская. В северной части Кавказа — Осетии живут осетины по фамилии Дзугаевы. Это верно. Есть такая фамилия. Известно, что многие осетины имеют чисто грузинские фамилии. Связь Грузии с Осетией исторически была очень тесна. Грузинские цари часто привозили из Осетии жен. Даже великая царица Тамар в 12 веке сочеталась узами брака с осетинским царевичем Давидом Сосланом. Смешанные браки встречались и среди князей, и в простонародье. Но не подлежит сомнению, что корень «джуга» древнегрузинский. И сам Сталин всегда считал себя грузином.

И вот разразилась истинно народная революция, совершенно неожиданно для всех революционных партий и застала их врасплох. Роль большевистской партии в этом народном движении была ничтожная. Искрою, зажегшей пожар революции, оказался арест так называемой «группы четырнадцати» рабочих, во главе с рабочим Гвоздевым, состоящей при военно-промышленном Комитете в Петрограде, который обслуживал нужды обороны страны. Эта группа была умеренная, стояла за оборону страны против Германии Вильгельма Второго. Но она считала, что при существующих порядках действенная защита страны была невозможна. Поэтому со всею прогрессивною частью русского общества она стремилась к изменению этих порядков.

Промышленные круги, представленные в военно-промышленных Комитетах, считали работу таких рабочих групп чрезвычайно полезной. В этом я мог убедиться по личному наблюдению, поскольку, состоя секретарем рабочей группы при военно-промышленном Комитете в Царицыне, встречался и беседовал о злободневных вопросах со многими персонами промышленного мира. Популярность рабочей группы в Петрограде была большая. Поэтому арест этой группы рабочих оказался каплею, переполнившей чашу терпения рабочих масс Петрограда, который больше всех городов России испытывал последствия затянувшейся войны. Они и вышли на улицу, и под натиском этих масс не выдержало и так пошатнувшееся здание царского режима. В эти дни, 28—29 февраля 1917 года, выяснилась правильность тактики того направления народно-освободительного движения, которое стояло за использование легальных возможностей и в первую голову трибуны Государственной Думы. Социал-демократическая фракция Государственной Думы во главе с Карло Чхеидзе стала в центре движения. Первые выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов показали воочию, как ничтожно было влияние большевиков среди рабочих даже Петрограда. Подавляющее большинство примкнуло и поддержало социал-демократов и социал-революционеров против большевиков. Сталину такой результат был весьма неприятен, он даже не был выбран в Совет рабочих депутатов Петрограда, но каким-то образом все же попал во фракцию большевиков, которой руководил Каменев, друг Сталина, позже расстрелянный им. Создание Советов рабочих и солдатских депутатов придумано не большевиками. Они наоборот, в особенности Сталин, были против таких мас-

совых организаций. Совет Петербургских рабочих был создан впервые еще в 1905 году во время первого народного движения по инициативе Льва Троцкого, который был тогда меньшевиком и возглавил Советы. Большевики всегда относились к широким массам с недоверием. Они стремились к созданию замкнутой организации из профессиональных революционеров. Сталин руководил газетой «Правда» и самые бесцеремонные статьи, натравливающие рабочих и солдат против большинства Исполнительного Комитета Советов во главе с Чхеидзе выходили из-под пера Сталина. Каменев-Розенфельд, один из немногих интеллигентных большевиков, возглавляющий маленькую фракцию большевиков в Исполнительном Комитете Советов, был умереннее и покладистее всех. Он стыдился тех нападок, которые печатались в газете «Правда», так они были абсурдны, нелепы и циничны. Но до этого Сталину не было дела. Он придерживался того взгляда, что противника надо оклеветать, оговорить, авось не отмоется. Цель его была опозорить социал-демократов и социал-революционеров в глазах рабочих, вселить в них недоверие. Поэтому он ежедневно обвинял их чуть ли не во всех смертных грехах. Каждый шаг, каждое постановление Исполнительного Комитета вызывали самые свирепые нападки, рассматривались как измена рабочему классу и солдатам. Но ведь для каждого истинно честного революционера, дорожившего завоеваниями Февральской революции, было ясно, что затруднения, которые стояли перед тогдашней Россией, мгновенно не исчезнут. Наоборот, перед новой властью возникли еще более сложные проблемы — как внутренние, так и внешние. Для преодоления этих проблем требовалось объединение всех общественных и прогрессивных сил, «всех живых сил», как удачно высказался депутат второй Государственной Думы Ираклий Церетели, вернувшийся из сибирской ссылки и занявший первое место в рядах революционной демократии. Но какое дело было Сталину до того, что революция испытывала затруднения. Это было как раз на руку ему. И он использовал их с целью подрыва авторитета новой власти. В эти дни я часто встречался с ним в коридорах Смольного института, где находился Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, простым членом которого состоял и Сталин. В разговорах с ним я упрекал его в том, что газета «Правда» поступает неблагородно, ведя нечестную борьбу против новой власти, вышедшей из народного движения. Указывал на факты и статьи, так бесчестно искажаемые газетой. Он обыкновенно улыбался своею добродуш-

ной на вид, а на самом деле дьявольскою улыбкой. Считал меня наивным человеком, ибо я полагал, что с противником нужно вести честную борьбу. Он считал, что ложь, пущенная в ход, всегда найдет слушателей и всегда действует сильнее, чем правда. Главное для него — достичь цель, а правда или ложь — это только средства для ее достижения, и из этих двух средств он предпочитает ложь, потому что она сильнее правды, острее и действеннее. Такова была его логика и им выдуманная «диалектика». Нельзя сказать, что эта логика была воспринята им от Ленина. Сталин прибегал к этому средству еще тогда, когда вовсе не знал Ленина. Это было его природою. Таким образом, не изменяя своей природе, Сталин в газете «Правда» врал и клеветал на новую власть, на правительство Керенского, пока эта власть, по слабости, проявленной к большевикам, не была свергнута последними.

Во время Октябрьского переворота я был еще в Петрограде. Я имел возможность наблюдать за «работой» большевистских вождей: Троцкого, Зиновьева, Свердлова, Каменева, Володарского и других. Встречался со своим земляком Сталиным, и надо здесь откровенно сказать, что хотя он и не считался, так сказать, официальным вождем в партии, но к его голосу прислушивались все, не исключая Ленина. Он был, если можно так выразиться, партийной «крысою», представителем как бы низов партии, выразителем их взглядов и настроений; все могли в чем-то ошибаться, но не Сталин. Такое было убеждение у всех. Его такое положение в партии объясняется наверное тем обстоятельством, что все эти вожди: Ленин, Зиновьев, Троцкий и другие, жили не в России, а за границей, не работали непосредственно по созданию партийного аппарата и в глазах широких партийных кругов считались, исключая, конечно, Ленина, как бы околопартийными. Тем более это можно сказать о Троцком, который еще недавно был меньшевиком (самое позорное слово в устах правоверного большевика — Д. С.), хотя и интернационалистом. Партийный актив их не видел, не знал по работе. Сталина же все знали. Собственно, он и был создателем партийного аппарата большевиков, ее организационного остова. Кроме того, за Сталиным стояли и могли его всецело поддержать земляки-большевики: Серго Орджоникидзе, впоследствии комиссар тяжелой промышленности, известный большевик из Баку Шаумян, Джапаридзе (Шаумян и Джапаридзе вместе с другими 24 большевиками были расстреляны в Баку английским командованием в 1919 году) и другие, вождем которых безус-

ловно считался Коба, как его называли партийные товарищи на Кавказе. Роль же Кавказа в революционном движении известна всем. И выходило так, что когда Сталин высказывал свое мнение, считалось, что за этим человеком стоят огромные массы партийных работников на местах, и его мнение почиталось как бы мнением многих и многих. А кто мог стоять за спиной этих вождей, приехавших из-за границы? Абсолютно никто. А это много значило для тогда еще молодой партии большевиков. Из этих соображений сам Ленин, неоспоримый вождь большевиков, очень считался со Сталиным. Он отлично знал все преимущества Сталина перед такой мелочью, как он их называл, как Зиновьев, Володарский, Луначарский и другие, настоящую цену им он отлично знал по совместной работе за границей. Каменева Ленин называл мягкотелым большевиком только потому, что он был добросовестнее, добродетельнее остальных, что ни в коей мере не характерно для ортодоксального большевика. Кроме этого «преимущества» Сталина над другими вождями, надо отметить одну характерную его черту — неустрашимость перед любыми затруднениями.

Еще в июле месяце Сталин стоял за решительное выступление для захвата власти. Это подтверждает и Николай Суханов в своих семитомных «Записках о революции». Об этом он пишет так:

«Большевистской удаче в октябре предшествовали две неудачи. Еще 10 июля назначенную на этот день «мирную демонстрацию» под лозунгом «Долой министров-капиталистов» большевики рассчитывали при политической благоприятной обстановке закончить государственным переворотом, захватом правительственных учреждений, арестом правительства. «Выработана была диспозиция. Назначен был удар-пункт — Мариинский дворец. Назначен главнокомандующий повстанцев — прапорщик Семашко из первого пулеметного полка. Военный технический успех не возбуждал сомнений. Дело испортило колебание политического центра. Сталин, Стасова и посвященные из периферии Петрограда стояли за выступление. Против него были почти «меньшевик» Каменев и обладатель достоинств кошки и зайца — Зиновьев. Среднюю, самую оппортунистическую, позицию занял Ленин. Решил дело, конечно, он, в нерешительности воздержавшийся. Манифестация была отменена».

Бывали случаи, когда все терялись, готовы были на компромиссы с другими партиями, с властью, и только Сталин оставался непреклонен и, не считаясь с обстоятельствами, воз-

вышел голос, как будто от имени всей партии, за «генеральную линию», что означало в его представлении решительную непримиримость. Например, в дни июльского выступления большевиков против правительства Керенского, когда оно провалилось, власть арестовала Троцкого, Свердлова, Зиновьева и других вождей, а Ленину пришлось бежать в Финляндию. Сталин ушел снова в подполье, не растерялся при таком положении, собирал петроградский актив партии, готовил его на всякий случай для нелегальной работы. Карахан — тоже большевик и тоже расстрелянный Сталиным, давно знакомый со мной, рассказывал мне все, что делал Сталин в то время. Если в газете «Правда» нельзя было писать открыто, то Сталин организовал выпуск отдельных листов, в которых громил «контрреволюционное» правительство Керенского и призывал рабочий класс и солдат к дальнейшей борьбе. Другое дело, что вообще не было нужды в нелегальной работе. Половинчатость действий правительства Керенского, вскоре выпустившего Троцкого и других, спасла положение большевиков на этот раз. Я встретился со Сталиным как-то раз в это время. На мой упрек, неужели он считает в интересах общего дела полезным и целесообразным подобные выступления и не думает ли он, что это дискредитирует самих большевиков в глазах народа, он, улыбаясь своею обычною улыбкою, ответил: «Не думайте, что это было настоящее представление, оно будет позже. Это была только генеральная репетиция, и она блестяще прошла. Мы знаем теперь, какими силами оперируем. А Керенский работает для нас как нельзя лучше». Увы, его предсказания полностью оправдались. Действительно, Керенский работал для них отлично. Это показали октябрьские дни. Я встретился со Сталиным накануне октябрьского переворота в коридорах Смольного института, ночью в 12 часов 24 октября. Он против обыкновения торжественно заявил, что дело решенное, победа будет за ними. Такая откровенность объясняется тем, что в это время приказ о выступлении гарнизона против власти и об аресте правительства Керенского был уже дан. Так и случилось. В эту ночь все правительственные учреждения были заняты большевистскими частями. Некоторые члены правительства были арестованы, сам Керенский бежал из Петрограда. Сталин ликовал. Победа была полная. Первая цель достигнута. В коридорах Смольного института, где заседал новый состав большевистских рабочих и солдатских депутатов, я видел Сталина, быстро входящим то в одну, то в другую дверь множества комнат института. Таким

его я никогда не встречал. Такая поспешность и лихорадочность были необычны для него, он никогда не торопился, за какое бы дело ни брался, походка у него была всегда медленная, можно даже сказать ленивая. Как раз в эти дни оказалась особенностью его характера. В то время как все стремились к занятию высших постов в государстве, он на предложение Ленина войти в состав вновь образованного правительства, так называемого Совета народных комиссаров, решительно отказался и предпочел остаться работником партии. Он рассуждал так: победа одержана большевистской партией, переворот совершен ее именем, без санкции партии ни один важный государственный вопрос не может быть проведен в жизнь, значит, кто будет в партии главным лицом, тот и будет рулевым государственного корабля. И действительно, ни одно решение правительства не могло пройти в жизнь без предварительного обсуждения и принятия решений в партийном центре, где Сталин чувствовал себя, как дома. Эти сведения сообщены мне главным образом Караханом и Енукидзе, с которыми я был, можно сказать, в хороших, близких отношениях. Оба расстреляны Сталиным. Этому центру не принадлежали ни Троцкий, ни Луначарский, ни многие другие, занимавшие высокие посты. Сталин стал укреплять и составлять партийный аппарат так, как было полезно его видеть. Кто мог препятствовать ему в этой «работе» по укреплению партии, все были слишком заняты повседневными государственными делами. Единственный человек, с которым он считался, был Ленин. Ленин на этой стадии советской власти всецело поддерживал его. Отказ Сталина занять правительственный пост еще больше убедил Ленина в том, насколько предан этот «чудный грузин» партии. А партия для Ленина была священна.

Еще одно обстоятельство подняло значение Сталина в глазах Ленина. Об этих делах я рассказываю здесь как свидетель, т. к. был тогда членом Исполнительного Комитета Советов второго созыва. Дело в том, что хотя большевики одержали полную победу над правительством Керенского, они оказались в затруднительном положении в первый же день переворота. Во-первых, в день открытия съезда Советов, 25 октября, со съезда ушли демонстративно все социалистические партии, оставив большевиков одних. Председательствующий на открытии съезда Ленин, улыбаясь, смотрел на уходящих со съезда представителей социалистических партий, один за другим заявляющих об их отрицательном отношении к перево-

роту. Все остальные были смущены, озадачены некоторым образом. Только Сталин не терял духа. Ненависть его к другим партиям, в особенности к социал-демократам, была так велика, что заглушила всякое благоразумие. «Пусть убираются к чертям, на что они сдались, мы и без них обойдемся», — так говорил он всем и советовал не «кручиниться», глядя на печальное лицо Каменева. Но за уходом социалистических партий из состава Советов последовали события, которые заставили задуматься даже Ленина. Керенский, бежавший из Петрограда, собрал в Гатчине, недалеко от Петрограда, казачьи части во главе с генералом Красновым и пошел походом на город. Большевики дали приказ по гарнизону выйти навстречу Керенскому. Но ни одна часть и слышать не хотела о выступлении. Положение большевиков стало плачевным. Угроза Керенского с каждым днем росла. И вот здесь вмешиваются другие партии, не желавшие допустить кровопролития, не хотевшие братоубийственной войны. Они предложили Ленину стать на соглашательский путь. Этот вопрос стал обсуждаться в Исполнительном Комитете Советов и почти единогласно было решено начать переговоры с Керенским. Была выбрана специальная комиссия, куда вошел вместе с Каменевым и пишущий эти строки, как представитель той маленькой группы, которая не разделяла тактики ухода из Советов и предполагала оппозицию изнутри. И здесь Сталин был единственным, кто возражал против переговоров и тем более создания комиссии. Он был против всякого соглашения с Керенским. Утверждал, что его наступление — «блеф» и серьезной угрозы не представляет. Увы, он оказался прав. У Керенского, действительно, не было никакой военной силы. Его же казаки так озлобились против него, что ему пришлось бежать от них, переодевшись в женское платье.

Но и после эпопеи с Керенским победа большевиков еще не совсем была обеспечена. На юге России поднимались силы во главе с генералом Деникиным, в Сибири — адмирал Колчак, с Балтики шел генерал Юденич. По настоянию Ленина столица государства переносится в Москву. Этот факт как бы символизирует обратный ход русской истории ко временам Иоанна Грозного. Поступательное движение к Западу, к его культуре и порядкам, начатое, но не доконченое, приостановилось. Одновременно началась страшная гражданская война, когда брат не щадил брата, сын восставал против отца и наоборот. Были созданы так называемые ЧЕКА — чрезвычайные комиссии в центре и на местах, выносившие беспо-

щадные смертные приговоры и уничтожавшие мало-мальски подозрительных и совсем невиных людей. Председателем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии состоял Феликс Дзержинский, человек, мягко говоря, с расшатанными нервами, которому ничего не стоило подписывать смертные приговоры, но Сталину и этого было мало, он отзывался о нем, как о мягкотелом. Между этими двумя шла всегда глухая борьба, которая после смерти Ленина вылилась в открытую схватку. Известно, что незадолго до своей смерти Дзержинский намеревался уничтожить Сталина, Молотова и Калинина «как провокаторов и злейших врагов партии, Ленина и рабочего класса». Ордер на их арест уже был выписан, но борьба закончилась победой Сталина, а Дзержинский умер от «разрыва сердца»...

В 1920 году, в мае месяце, мне пришлось быть в Москве по поручению Грузинского Национального Правительства для переговоров относительно заключения договора о признании Советским правительством независимости Грузии. Я виделся со Сталиным как с комиссаром по делам национальностей. Видел многих видных коммунистов: Каменева, его жену Ольгу Давыдовну, Стеклова, Розанова, Енукидзе, Орджоникидзе, Цивцивадзе, Мирского-Кобахидзе, в квартире которого я жил и который особенно хорошо был посвящен в то, что происходило в большевистских верхах. И я на этих страницах должен засвидетельствовать, что Сталин уже тогда занимал в партии исключительное положение, но, конечно, в стране не был так известен. Названные коммунисты единогласно заверяли меня, что когда генерал Деникин со своим войском приблизился к Туле, в 300 километрах от Москвы, все потеряли голову. Один Сталин не терял духа и ясности сознания, давал распоряжения по партии, собирал силы для отражения противника. У него почему-то сложилось убеждение, что у Деникина нет больших, неотразимых сил. Один хороший удар, говорил он, и все разлетится в прах. Его оценка настоящего положения и на этот раз оказалась правильной. В действительности у генерала Деникина не было настоящей боевой армии, не хватало оружия, припасов, солдаты не были одеты по-зимнему. «Расхлябанность проявлялась во всем», — отмечает сам генерал Деникин в своей вышедшей в Париже книге «Очерки русской смуты». В сущности поражение белого движения под Тулой оказалось началом конца всех противобольшевистских сил. То же самое произошло под Царицыным. Здесь померялись силами два враждебных лагеря — белогвардейский и большевист-

ский. Произошла решительная схватка, и большевики опять остались победителями. Троцкий характеризует Сталина с худшей стороны: «Сталин занимался под Царицыным только его излюбленным делом: разжиганием нездоровой атмосферы среди руководящих партийных-военных работников, доносами в Москву, грубым и глупым вмешательством не в свои дела. Даже то, что нужно было действительно проделать — очистить тыл в Царицыне, Сталин проделал так топорно, что пострадали наши отношения с рабочими. Сталин хватал безрассудно всякого рабочего, обронившего случайно критическое замечание... С ведома Ленина я убрал из Царицына Сталина, разложившего оборону». Приведенные слова Льва Троцкого, особенно подчеркнутые мною, говорят о многом.

Известно, что Сталин и Троцкий находились с самого начала во враждебных отношениях. Сталин всегда считал Троцкого меньшевиком, примазавшимся к большевикам. А Троцкий называл Сталина «кавказским эшаком», т. е. ослом. Эти кавказские ослы особенно упрямы, по крайней мере, так было принято считать в России. По праву или нет, пусть в этом разберутся специалисты, но о Сталине Троцкий заметил верно. Троцкий заметил, что Сталин занимался своим излюбленным делом: интриги, доносы и т. п. И здесь можно верить Троцкому. Сталин всегда был мастером этих «дел». Но Троцкий свидетельствует и о другом, а именно, что Сталин был командирован из Центра в Царицын для проведения красного террора. Это есть главное. И кто знает большевистскую практику, особенно во время гражданской войны, тот должен согласиться, что человек, обладающий неограниченным правом умерщвлять тысячи виновных и невиновных, считается всемогущим, тем более, если он был прислан из Москвы специально с этой целью. Карающая рука Сталина коснулась не только голов так называемых контрреволюционеров, но почти всех, если он почему-либо считал это нужным. Можно верить тому, что Сталин эту «работу» вел грубо. Но ведь вся система большевистской власти основана именно на насилии, на грубости, на издевательствах. Не Троцкому жаловаться. Ведь он являлся самым ярким апологетом гражданской войны и красного террора, когда в них не было никакой нужды, когда победившая Февральская революция давала все возможности для установления необходимого гражданского и правового порядка в России. Что нужно было еще? Царское самодержавие свергну-

то, стопроцентная свобода приобретена. На этой базе требовалась только созидательная работа, но не углубление революции, не подрыв этой базы. Именно утверждение и упрочение демократических свобод в России оказалось бы огромным стимулом для других стран, для поступательного движения вперед на пути политического и социального преобразования современного общества. Именно большевизм с его звериным лицом, с его ужасами в России, на одной шестой части мира, оказался сдерживающим тормозом, напугал широкие массы рабочего класса и вообще демократические силы во всем мире и стал по существу реакционным фактором. А кто способствовал такому развитию, если не тот же Троцкий своим талантом, красноречием, энергией? Повторяю, по меньшей мере наивно жаловаться Троцкому или другому большевику, на которых пал меч ими же созданного красного террора. Разве не предупреждали Троцкого и других Мартов, Либера, даже Дан, Абрамович, Церетели, Плеханов о роковых последствиях затеваемой ими игры? Во время разнузданной гражданской войны проявляемая кем-нибудь мало-мальски порядочность, интеллигентность, просто человечность считались мягкотелостью, слабостью, буржуизмом, меньшевизмом и т. д., недостойными правоверного большевика. Не случайно ведь один большевик, которого я знал еще со школьной скамьи, сказал мне патетически, когда я сидел в тюрьме у большевиков в 1921 году, что он не такой плохой коммунист, чтобы не решиться перестрелять и меня и всех, находящихся в то время со мной, если этого потребуют «интересы большевистской партии». Сталин чувствовал себя в то время в Царицыне представителем партии большевиков, высшего органа в государстве, и понятно, что вмешивался во все дела, давал руководящие указания, как он понимал, приказывал, считал себя главным лицом на этом фронте гражданской войны. Он был просто политруком. А кто не знает, что в большевистской системе политрук в армии — все, военачальники — только пешки. Одного слова достаточно, чтобы снять военного руководителя и даже казнить. Так было всегда, а тем более во время гражданской войны, когда Центром, Москвою, им предоставлены были неограниченные права по проведению красного террора на местах. Несчастье Троцкого заключалось в том, что он был меньшевиком и как бы он ни возвысился по государственной лестнице, старые большевики не могли его признать партийным вождем, тем более Сталин не мог признать его авторитета. Но Троцкий находился в роковом заблуждении. Он переоценивал свое положение

и силы. Отсюда конфликт со Сталиным и его гибель. Троцкий в приведенных выше словах уверяет, что большевистские силы под Царицыным разложились, но обвиняет в этом Сталина. В этом контексте не важно, почему разложилась оборона. Факт, что большевистские силы были уже не боеспособны. Это соответствует истине. Меня в этом уверяли все видные большевики в Москве. Этим и объясняется, что Троцкий хотел отступить, что подсказывалось логикой вещей — он считал положение фронта безнадежным, но Сталин под угрозой ответственности перед партийным судом принуждал к дальнейшему сопротивлению, понимая, что если у них силы расстроены, то у противника положение еще хуже. Солдаты противной стороны просто не хотели жертвовать собой ради генералов, они отлично видели, что восстанавливаются старые порядки, у крестьян отнимают землю и т. д. Об этом свидетельствует сам генерал Деникин в названной книге и многие другие. Наконец, не было боевого снаряжения, не хватало пропитания для людей и для лошадей. Вот что опять спасло большевиков. Самоотвержения, упорства в борьбе не было ни с одной, ни с другой стороны. Да откуда могло быть, если обе армии находились в состоянии разложения, как авторитетно заявляют с обеих сторон. В таком положении, известно, выигрывает тот, у кого оказываются крепче нервы. В данном случае нервы осла могут здорово пригодиться — в этот критический момент Сталин и проявил себя. Именем партии он потребовал продолжения борьбы. Многих и расстрелял. Об этом говорили мне в Москве Енукидзе, Мирский и другие, а в Рюетове — Орджоникидзе и Смилга, с которыми я имел встречу по дороге в Москву. Любопытно, что всех этих большевистских тузов Сталин убрал со своей дороги как противников своего всевластия.

Сталина под Царицыным поддерживал Клим Ворошилов, чем и объясняется их долголетняя «дружба», которая заключалась в том, что последний постоянно должен был смотреть Сталину в глаза и угадывать малейшее желание кремлевского диктатора.

В начале 1921 года произошло восстание матросов Кронштадта, тех самых матросов, которые усерднее всех помогали большевикам прийти к власти. Руками матросов было разогнано Учредительное Собрание в 1918 году. Но эти же самые матросы вслед за окончанием гражданской войны почувствовали и увидели воочию, что обмануты новой властью. Они не получили ни свободы, ни хлеба. Остались у разбитого корыта.

Материальное положение во много раз ухудшилось в сравнении с прежним. Они и восстали против советской власти. Сам Ленин был озадачен и удручен. Приходилось усмирять военной силой, красным террором вчерашних его любимцев. Ведь они были «краса и гордость революции», по образному выражению Льва Троцкого. И опять-таки это дело было поручено Сталину по партийной линии. Здесь требовалась беспощадная рука, и кого же другого могли послать, если не Сталина. Он и усмирил этих взбунтовавшихся изменников «народного дела». Кронштадтское дело легло кровавым пятном на кровавый режим большевистской власти в России. И матросы, и красноармейцы, и даже многие коммунисты увидели, наконец, к чему привело «углубление революции». С этого момента и начинается оппозиционное настроение среди коммунистов.

Из вышеизложенного читатель видит, что хотя Сталин не занимает сколько-нибудь заметного поста, но по партийной линии в самые критические моменты советской власти он везде фигурирует на ответственном месте. И разве после этого не естественно, что Ленин на партийном съезде выдвигает Сталина на пост секретаря Центрального Комитета партии. Троцкий утверждает, что Ленин, предлагая Сталина секретарем, имел в виду, так сказать, простого писца. Это наивно. Во-первых, Сталин, хотя и владеет отлично русским языком и пером, совсем не годится быть секретарем в обычном смысле. Да кроме того, кто не знает, что быть секретарем Центрального Комитета большевистской партии это значит подчинить себе всех секретарей местных комитетов, так как структура партийного организма представляет полное подчинение местных органов Центру. А на местах главными персонами в партии везде и всегда были секретари. И вышло так, что секретари, а значит и местные организации партии автоматически подчинились секретарю Центрального Комитета. А Сталин к тому же очень искусно заставлял выбирать своих людей. Метод очень простой: имея сведения о всех членах местных комитетов, о степени их надежности, он до выборов вызывал к себе предлагаемого в секретари Иванова или Петрова, имел с ним с глазу на глаз часовую беседу, давал наставления, обнадеживал, что от имени Центрального Комитета предложит местной организации в интересах партии выбрать его. В таких случаях обхождение у Сталина было превосходное. Он отлично умел расположить человека к себе, тем более, если последний чувствовал, что его успех в жизни во многом зависит от него. Такую попытку дружеского сближения проделал он и с

мной, когда я на съезде Советов старого созыва, не разделяя тактику ухода из Советов моей фракции, открыто заявил об этом. После заседания съезда Сталин в коридоре Смольного института «дружески» обнял меня за плечи и заговорил по-грузински, по-видимому, желая показать особые чувства ко мне.

Что удивительного, что после этого Иванов или Петров становились послушным орудием в руках Сталина? А иногда Сталин просто посылал своего человека с предложением местной организации выбрать того или иного в секретари. Могла ли местная организация осмелиться не выбрать предлагаемого Центральным Комитетом партии кандидата? Конечно, нет!

Титул генерального секретаря появился позже. Сталин сам выдумал его и присвоил себе, обладая фактической властью генерального секретаря. Ведь недаром он предпочитал остаться чисто партийным работником и не стремился к высоким государственным должностям, считая их мишурою, а не действительной властью. Высшая государственная власть — была партия, ее Центральный Комитет. А потому быть в партии первым это значило быть в стране первым. Вот что усвоил Сталин твердо и держался этого курса неуклонно до войны с Гитлером, когда ему понадобилось стать еще и генералиссимусом армии по соображениям очень понятным. И это соответствовало официальной доктрине, по которой партия большевиков считалась высшим руководящим органом пролетарской революции во всем мире, а Советский Союз, Россия, Кремль, где сидит Сталин-Джугашвили, — это штаб планетарного переворота.

Описывая роль Сталина в дни октябрьского переворота и после него, я твердо убежден, что это вполне соответствует действительности. Факты говорят за это. И только эта действительность дает объяснение на недоуменный вопрос: каким образом удалось захватить власть в таком большом государстве, как Россия, такому, в сущности, невзрачному человеку, как Сталин. Случайного здесь ничего не было, логика вещей говорила именно за такое развитие. Случайным был вообще захват власти большевиками. Этого можно было избежать, если бы противники оказались дальновиднее и нетерпимее к большевикам. Но раз такой захват произошел и партия большевиков стала господствующей силой в стране, я считаю вполне естественным и, так сказать, закономерным захват власти Сталиным после смерти Ленина...

Эти строки были давно написаны мною, и я приятно был

удивлен, когда мне пришлось прочесть в «Социалистическом Вестнике» от 30 декабря 1949 года статью Рафаила Абрамовича «Чингис-хан 20 века». В этой статье Абрамович, не зная Сталина близко, как сам говорит, дает удивительно меткую характеристику его и высказывает аналогичное мнение относительно роли Сталина и захвата им власти. Абрамович пишет, между прочим, следующее: «Перебирая ленинскую старую гвардию, надо признать, что описанное развитие было закономерно и неизбежно, потому что во всей головке большевистской партии не было более подходящего человека для роли вечно меняющегося термидоровского протей, чем Иосиф Виссарионович Сталин. И не случайно, что именно он отправил на смерть всю «старую гвардию», а не она его. Только у него одного была та абсолютная аморальность, не только теоретическая, как у Ленина, но и практическая. Только у него одного настолько притупилось и отмерло моральное обоняние, что он мог одинаково весело беседовать, заключать пакты и в то же самое время задумывать самые вероломные и бесчеловечные планы, — и с Риббентропом, и с Матуоко, и с Сикорским, и с Рузвельтом, всех обманывая и всех продавая. Только он один мог спокойно отдавать приказы, обрекающие на голодную смерть миллионы ни в чем не повинных женщин и детей, — под звон обманных фраз о торжестве и гуманности коммунизма. Только он один являлся мастером тщательно задуманных и с нечеловеческим терпением проведенных интриг, и он один обладал той звериной интуицией, которая позволила ему «спустить курок» на полсекунды раньше своего противника».

Читатель естественно может задать вопрос: в чем же заключалась, так сказать, идеология Сталина, чем различается он от своих противников, что представляет из себя знаменитая его «генеральная линия»? На эти вопросы не так легко ответить, потому что у Сталина идеология вырабатывалась в зависимости от взглядов противников на его личную власть, в свою очередь, домогающихся главенства в партии и в государстве. Если соперники его держатся левых взглядов — Сталин занимает противоположную позицию, значит правую, и наоборот, если опасные соперники — правого течения, он будет выступать ярким сторонником левого курса в политике.

Например, известно, что внутрипартийная борьба, существовавшая еще при Ленине, после его смерти приняла острые, «звериные формы» за его «наследство». Высшим выра-

зрителем этой ожесточенной склоки стал 14-й съезд партии большевиков, состоявшийся в 1925 году. Этот съезд представлял, по свидетельству одного из участников, зрелище «всемирного мордобоя», так накалились страсти. Группа Зиновьева-Каменева выражала левое течение в партии, все еще рассчитывающее на всемирную революцию, хотя восемь лет господства большевиков в России должны были убедить их, что ставка на революцию в западных странах провалилась. Сталин же на этом съезде формулировал свою точку зрения так: «Надо и настоятельно необходимо, чтобы мы сделали нашу страну, пока существует капиталистическое окружение, а это, видно, долго будет длиться, экономически самостоятельной от других стран». Эта автаркия была провозглашена Сталиным впервые в 1925 году. Бухарин, Томский и даже Троцкий стали на ту же позицию. На этом съезде победителем вышел Сталин. Его поддержало большинство ЦК партии, Политбюро и бесчисленные местные партийные аппараты, которые всегда одинаково готовы к бою, даже не зная точно, кто и где противник, за что надо его бить и куда вести преданные коммунистические батальоны — штурмовать ли капиталистическую Европу или собственный Коминтерн: истреблять ли «буржуазию» на западе или насаждать у себя; втягивать ли «передышку» или «сматывать удочки». Сталину, победившему на этом Съезде и закрепившему свою власть, вовсе не было по душе, что его поддерживали Бухарин, Томский и особенно Троцкий. Он начинает теперь заигрывать с левыми. Когда Каменев на одном собрании заявил, что называть Россию нэповскую социалистической — это великая ложь и что против этой лжи необходимо бороться всеми силами, ибо она обманывает рабочих, Троцкий выступил вслед за ним, поднял на смех коминтерновские «ошибки» — бахвальство, хвастовство: мы, мол, совершили октябрьскую революцию, мы и немцам, французам и американцам нос утрем; утверждающие это, — продолжал Троцкий, — забывают, что мы малокультурные, даже безграмотные, что алкоголизм у нас в жизни народа играет еще большую и жестокую роль. Сталин резко и решительно возразил на это Троцкому, что «в области внешней торговли очень много зависит не только от нас, но и от поведения западноевропейских капиталистов, причем, чем больше растет экспорт и импорт, тем больше мы становимся уязвимыми для ударов со стороны».

И любопытно: порою противникам Сталина трудно было распознать истинные взгляды этого «чудного грузина». Стои-

ло им сделать попытку примкнуть к нему, как он резко менял свою позицию и поддерживал другую группу, которую в данный момент считал менее опасной для себя. Этим и объясняются нескончаемые противоречия в заявлениях «лидеров» и оппозиции, и неоппозиции, этого «бедлама путаницы и противоречий друг с другом и с самим собою», как метко выразился когда-то талантливый русский публицист Марк Вишняк.

Но в этом бедламе все же прослеживается одна определенная и ясная линия поведения Сталина: захватив власть, удержать ее во что бы то ни стало. Запутать противника, сделать свою «генеральную линию» темной, непонятной было для него одним из средств ослабить соперников, разделить их на группы, посеять между ними раздор, что подчас прекрасно удавалось ему.

* * *

Сталин считает себя последователем Маркса и хранителем заветов Ленина, но когда его собственные представления, взгляды приходят в столкновения со взглядами тех, последователем которых он себя считает, он не стесняется в выражениях в адрес своих «учителей». Примером такого отношения может служить сцена, разыгравшаяся на одном собрании в Тифлисе в 1904 году, участником которого был и пишущий эти заметки. На этом нелегальном собрании партийных работников, где присутствовало много рабочих, оппонентом докладчика по животрепещущим вопросам выступил и Сосо Джугашвили. На этом собрании присутствовал приехавший из Германии Владимир Ахметели, изучивший в подлиннике произведения Маркса-Энгельса и их лучшего комментатора Карла Каутского. Сталин, по обыкновению, часто ссылается на авторитет Маркса, понимая его превратно, по-своему. Владимир Ахметели молча смотрел на него и улыбался, но, наконец, не выдержал, встал и процитировал подлинные слова Маркса из третьего тома «Капитала», переведенного с немецкого на грузинский язык, и наглядно указал Сталину, как он фальшиво и ошибочно понимает Маркса. Но Сталина так просто не смутить, его лицо никогда его не выдаст. Оно непроницаемо. После слов Ахметели он спокойно встает и во всеулышание заявляет: «Что он там написал, этот осел, он должен был написать так, как говорю я». Все собрание расхохоталось, а Сталин покинул собрание. Сталин был знаком с Владимиром Ахметели, часто бывал в их семье, тем более что один из пяти братьев Ахметели, по имени Мате, сочувствовал большевикам и считался другом Сталина, если он толь-

ко вообще мог иметь друга! После этого собрания Сталин, оказывается, отправился к Ахметели домой, как будто ничего особенного не произошло, но очевидно с целью встретиться с Ладом (т. е. Владимиром Ахметели) и поговорить с ним в домашней обстановке еще раз о затронутой на собрании теме. Вскоре вернулся и Ахметели. Завязался разговор. Сосо упрекал Ахметели, что он вероятно неверно перевел Маркса. Ахметели шутя заметил ему, что между тем, что он говорил, и настоящим мнением Маркса-Энгельса такая же разница, как между Сосо и китайским императором, и здесь же доказал ему, что он ошибается, выдавая свое собственное мнение за мысли основоположников научного социализма. Но наш Сосо теперь уже не сдержался и на чем свет стоит стал ругать своих якобы «учителей». Позже Ахметели, уже в Берлине, в изгнании, часто вспоминал этот эпизод, говоря, что он никогда не видел его в таком бешенстве, обычно он умел владеть своими чувствами. После этого нетрудно представить, почему многие грузины говорят о своем земляке, что если бы Маркс и Энгельс были живы, он бы и их отправил на тот свет...

Как уважал Сталин подлинных рабочих и ценил их мнение, я имел случай убедиться еще раз в Тифлисе в 1921 году, после оккупации Грузии советскими войсками. Сталин приехал из Москвы и захотел встретиться с рабочими Тифлиса, с которыми с 1907 года не встречался. По его велению было созвано большое собрание в доме Плеханова. Вот цинизм, на который способны только большевики! Улица имени Плеханова, дом имени Плеханова, а над живым Плехановым, основоположником русского марксизма, издевались и обыскивали, как какого-то контрреволюционера!

Тифлисские рабочие пришли на встречу с главным виновником насилия их воли и свободы, среди них такие старые рабочие, как братья Нинуа, Датико Двали, Александр Дгебуадзе, Андро Чиабришвили—блестящий оратор, один из передовых рабочих, и многие другие. Я отлично знал цену такому собранию, но все же пошел из любопытства. Собрание открыл сам Сталин и начал, как лисица, с того, что приветствовал тифлисских рабочих именем Октябрьской революции, отмечая их передовую роль в революционном движении на всем Кавказе. Один из старых рабочих с места заметил ему, что не время сейчас говорить о роли, которую сыграли тифлиссские рабочие, пусть он лучше скажет о том, зачем собрали их, кто его пригласил сюда и за что пролили массу крови как русские, так и грузинские рабочие? Собрание дружно поддержало его. То-

гда Сталин сразу переменял тон, начал оправдываться в своих действиях, оправдывать политику Москвы по отношению к Грузии; всю вину за пролитую кровь взвалил на грузинское правительство и закончил так: «Почему вы волнуетесь, что мы плохого сделали, мы защищаем ваши интересы, интересы всех рабочих, а вы этого не понимаете. Ведь вы же знаете, что интересы всех рабочих везде одинаковы». Закончил и сел. Тогда встал рабочий Александр Дгебуадзе и сказал: «Сосо, ты нас хорошо знаешь и мы тебя тоже знаем. На этом собрании нет никакой необходимости заниматься очковтирательством. Ты ответь нам на основной вопрос: неужели за то боролись русские и грузинские рабочие против царского режима, чтобы, свергнув его, вцепиться потом друг в друга и проливать кровь? И кто же довел нас до этого? Разве мы напали на Москву? Это вы вторглись сюда с военной силой, заставили русских и наших рабочих проливать кровь, а мы вовсе не желаем этого. Неужели у вас в России мало дел по упорядочению жизни внутри страны, у вас голод, холод, восстание матросов на этой почве, а вы лезете к нам и не даете возможности устроить свою жизнь так, как мы хотим. Империалистическая война закончена, а вы ведете еще более страшную братоубийственную войну. Это ли есть защита интересов рабочих и во имя чего все это делается? С русскими рабочими мы сами договоримся без твоей помощи, они нас поймут и мы их, ты только мешаешь и мутнишь воду. Мы требуем ухода советских войск из нашей страны, мы требуем покоя и прекращения пролития крови». Все собрание бурно поддерживало каждое слово товарища. За Дгебуадзе выступил целый ряд рабочих, в том числе и Иосиф Рамишвили, вышеупомянутый депутат первой Государственной Думы. Все они бичевали Сталина за его вероломство и за те бесконечные бедствия, которые принесло вторжение советских войск в Грузию. Наконец встал со своего места до сих пор молчавший старый рабочий, любимый всеми Датико Двали, подошел к Сталину и обратился к нему со следующими словами: «Сосо, смотри мне прямо в глаза. Чувствуешь и сознаешь ли ты то, что сотворил здесь? Ты никогда не находил в нас сочувствия, потому что твои дела и поступки были противны каждому честному рабочему. Ты восстанавливал против нас всякий сброд и подонков общества, у которых был главарем, и этим мешал истинному рабочему движению. Ты занимался здесь только бандитизмом, и мы удалили тебя из своей среды, вообще заставили тебя покинуть Грузию. Мы тебя давно не видели и были ра-

ды, а теперь ты пришел к нам и с чем, с оружием в руках? И против кого, против буржуев или аристократов? Что за собрание здесь? Рабочих? А для чего тогда здесь твои чекисты, вооруженные до зубов (указывает рукой на чекистов, стоящих во всех углах)? Это ли есть рабочее собрание, это ли есть свобода, за которую мы проливали столько крови и жертвовали своей жизнью? Нет, ты насильник, хуже чем Думбадзе (Ялтинский генерал-губернатор царского режима, проливший массу крови рабочих и студентов — Д. С.). Что за дьявол сидит в тебе, ты создан человеком или сатаной, думаю, что сатаной! Прочь от нас, сатана, не подходи близко! — делает шаг назад, — ты был бандитом и остался таковым; вот что скажу тебе, Сосо!»

С этими словами он быстро повернулся и ушел. Зал был в оцепенении. Чекисты напряженно ждали приказа. Сталин, побледнев, но все же улыбаясь, быстро схватил шляпу, повернулся спиной к собранию и вышел. Конечно, за ним последовали и чекисты. Он направился прямо в помещение Центрального Комитета партии большевиков Грузии. Велел собрать всех членов Комитета и обратился к ним грозно: «Бабы! На что это похоже, где здесь большевистская рука? Здесь нужен железный горячий утюг. Он должен пройти по всей Грузии, чтобы уничтожить до самых корней существующий еще дух меньшевизма. Вот что нужно здесь, а вы еще цацкаетесь с ними!»

Затем, сменив весь состав комитета партии, сменил «правительство» Грузии, назначил председателем коммуниста Буду Мдивани, приказал провести аресты по всей Грузии и на другой день уехал в Москву. Конечно, вскоре последовали аресты массового характера. Не миновал арест и меня. Арестован был и старый рабочий Датико Двали, так смело высказавший Сталину то, что он заслуживал. В 1924 году во время всенародного восстания в Грузии он был выведен из тюрьмы и по личному приказу Сталина расстрелян. Позже расстреляли и Буду Мдивани за оппозицию Сталину. Так расправлялся новый Чингис-хан со своими противниками. И думаю, что самую лучшую и точную характеристику этого человека, который держит весь свет в оцепенении, дал простой старый рабочий из Тифлиса Датико Двали.

* * *

В человеке, в сложнейшем существе природы, заложены разнообразные, трудно уловимые черты. Поэтому, чтобы оп-

ределить характер и познать сущность той или иной личности, необходимо изучить и проследить поступки и дела ее в их совокупности. Сталин — не исключение. Чтобы дорисовать его портрет, обозначить если не последнюю, то все же существенную его черту, полезно было бы вспомнить, что рассказал нам сидевший с нами в заключении у большевиков в 1921 году в Тифлисском Метехском замке, вышеназванный Мате Ахметели — старый друг Сталина.

Как известно, первая жена его была грузинка, сестра околупартийца-большевика Алеши Сванидзе. Через год после женитьбы родился у Сталина первый сын Яков, тот, который в минувшую войну попал в плен к немцам. Он держался в плену с особым достоинством, и надо сказать, и немцы обращались с ним вначале неплохо. С посетившим его в лагере грузином из Берлина Валико Тогонидзе, желавшим поговорить с ним и притом на грузинском языке, Яков не захотел разговаривать на грузинском языке, заявив, что это пахнет грузинским шовинизмом. В этом отношении сын захотел быть ортодоксальнее отца. Он был убежден и громко заявляя об этом немцам, что отец его все равно одержит победу над Гитлером. Вот этот самый Яков, когда ему было еще только три месяца и он часто плакал, наверное от недостатка пищи, вызывал страшное раздражение «любящего отца», который как-то раз строго велел жене отнести люльку в темный подвал. На возмущенный вопрос Мате Ахметели, очевидца этой страшной сцены, почему он это делает, Сталин невозмутимо ответил: «Этот маленький осел мешает моей работе». Тогда он писал статьи для нелегального издания на грузинском языке «Брдзола» («Борьба»).

Рассказывая нам подробности семейной жизни Сталина, его жуткое отношение к жене. Мате Ахметели кипел от негодования, что ему, старому другу Сталина, приходится сидеть в тюрьме. Он написал письмо о своем положении на имя Сталина, но, конечно, никакого ответа не получил. Его гневу не было предела. Он винил себя — не надо было помогать Сталину в нужде, почти каждый день приглашать его к себе на обед, где Сосо чувствовал себя, как дома. А в этом доме был арестован и брат Мате, Сико Ахметели, ветеринарный врач, который относился ко всему происходящему тогда в Грузии как истый стоик, философски уговаривая брата не вспоминать старое. «Да как же не вспоминать и не возмущаться?» — обычно отвечал Мате своему брату-философу. — По-твоему и то надо забыть, что по вине Кобы, — он Сталина на-

зывал не иначе, как Коба, — наш дорогой Степан погиб и неизвестно где похоронен, если вообще удостоился он этой чести?» Степан Ахметели был полковником русской армии, служил в Сибири, в Грузии уже в чине генерала во время оккупации страны советскими войсками был арестован, отправлен в Москву и по дороге был умерщвлен — официально сообщили, что он умер от «тифа». Вот ирония судьбы: Степан Ахметели, будучи даже военным, нередко помогал Сталину деньгами. Сико на такую тираду брата отвечал так: «Разве пострадал только наш дом, есть ли в Грузии семейство, где бы не стояли плач и неопишное горе, не видишь, что вся страна залита кровью?» Тогда шли восстания в горах, а в городах производились массовые аресты, сопровождаемые расстрелами лучших сынов Грузии в подвалах всевозможных «чека». В самом Метехском замке сидело свыше тысячи заключенных, так сказать, цвет грузинской интеллигенции и передовых рабочих. Комендантом был поставлен некто Шульман, морфинист. Сколько раз приходилось видеть его лежащим утром на кровати, издерганного ночной «работою» по уничтожению человеческих жизней. Шульман, кроме того что был комендантом тюрьмы, еще и исполнял постановления «чека».

Мате Ахметели не мог понять, почему он сидит теперь в тюрьме. Казалось бы, если он и не был «чистокровным» большевиком, он все же боролся против царского самодержавия, стремился к свободе наравне с другими и даже в сообществе с Кобой. За это старый режим не особенно преследовал его, во всяком случае в тюрьме он не сидел, а вот теперь, когда царская власть свергнута, казалось бы цель уже достигнута, он здесь, в тюрьме, лишен свободы и кем лишен — своим же товарищем! Что за аномалия! Не сошел ли свет с ума? Так думал бедный Мате, бывший закадычный друг Кобы Джугашвили. Он не мог представить тогда вместе со многими другими, и не только тогда, но и теперь таких немало, что система, созданная большевизмом, похожа на мельницу, жернова которой безжалостно перемалывают всякого, кто бы ни попал в нее. Жернова огромной и страшной машины, называемой Советским Союзом, с центром в Кремле, где сидел красный диктатор, грозивший перемолоть весь мир, если он не опомнится и не примет соответствующих мер. Мир не должен забывать, что мастером, правителем этой страшной машины являлся сам Сталин, который не замедлил бы пустить

ее в ход тогда, когда нашел бы для этого подходящий момент.

Могут ли наследники Сталина отказаться от средств своего учителя?

* * *

Собственно говоря, никакого сталинизма нет, а есть только большевизм, доведенный Сталиным до своего логического конца. Если Ленин сказал А, Б, С, то Сталин договорил до Z, вот и все. Сталин есть завершение большевизма, его высшая точка, и никто другой не мог выполнить эту «историческую миссию», как Сталин. В этом есть, если хотите, какая-то закономерность. В этом отношении вполне можно согласиться с Д. Заславским («Правда» от 11.12.1946 года), охарактеризовавшим Сталина следующими словами: «Мы знаем, глубоко убеждены, что величайший человек нашего времени не мог появиться ни в какой иной стране, кроме нашей...», но с маленькой поправкой: мы знаем, глубоко убеждены, что величайший фальсификатор лучших идей нашего времени, ставший тираном, не мог появиться ни в какой иной действительности, кроме как в советской.

Здесь уместно задать себе вопрос: все же что является главной, характерной чертой большевизма? Конечно не его колхозы, совхозы, социализация, планирование, которого собственно и нет, а есть только хаос экономический. Характерная черта большевизма та, что там, за железным занавесом, — человек духовно порабощен. Подавлена его воля. Он не может свободно выражать свои чувства и взгляды. Каким способом достиг большевизм этого? Конечно, в первую голову своим неслыханным террором. Чека, ГПУ, НКВД. Имена Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берия, Крыленко, Вышинского говорят сами за себя. Впрочем, Ягода, Ежов, Крыленко, а недавно и сам Берия стали жертвою «ежовщины», как народ называет методы террора Советской России. Другое орудие подчинения советского человека — его полная экономическая зависимость от государства, сделавшегося единственным капиталистом, неизмеримо более властным и всесильным, нежели тысячи и десятки тысяч отдельных предпринимателей. С этим последним рабочий мог бороться, он был волен работать у него или нет. Он мог найти другого «капиталиста», другую работу. Теперь же он лишен этого абсолютно.

Структура власти в Советской России прямо исходит из давних тезисов Ленина: страна управляется одной партией. Пар-

тиею же управляет Политбюро из 12 человек, в Политбюро господствует по положению генеральный секретарь — Сталин. Он всегда говорил последний, он выслушивал других и под конец формулировал свое отношение к обсуждаемому вопросу. Это и считалось законом. На местах в отдельных республиках — та же система. Партийный секретарь, фактически назначенный генеральным секретарем, следовательно, считавшийся его человеком, есть господин положения, как в Римской империи — наместник. Он может смести любое правительство местной республики. Те же Чека, ГПУ, НКВД и весь аппарат государства и партии, наконец, армия, это только орудия принуждения в руках диктатора. «Нет ничего мучительнее, как оскорбление человеческого достоинства, нет ничего унижительнее рабства», — сказал когда-то Цицерон. В нынешней советской России именно личность унижена до крайних пределов, полное рабство рабочего, не имеющего свободного права выбора места своей работы и профессии, рабство крестьянина, прикрепленного к колхозу, подобное крепостничеству. Наконец, рабство интеллигенции, не знающее примера. Полная экономическая, политическая и духовная зависимость человека от господствующей власти.

Давая в этом труде характеристику Сталина, показывая его истинное лицо, я хотел, чтобы читатель узнал его таким, каким он был, не приукрашенным и не искаженным. Мое глубокое убеждение, что именно в таком виде он еще страшнее и опаснее для всего человечества. Мне вспоминается, как в 1920 году я в качестве представителя правительства независимой Грузии вел переговоры относительно заключения договора между Грузией и Советским Союзом. Любопытная картина: три грузина — Сталин, Гриша Уратадзе и я, в центре России, в Москве, обсуждали взаимоотношения России с Грузией и представляли обе стороны. Сталин — Россию, а Уратадзе и я — Грузию. Вспоминаю его лицо. Мы сидели в его кабинете, там же был и Каменев. От лица Сталина веяло фальшью. Улыбаясь и как будто соглашаясь с нашими предложениями, он одновременно готовил гибель для независимой Грузии... С кем только он ни вел подобной игры и кого только ни обманывал! Даже Черчилль говорил, что он кругом обманут Сталиным. Я давно не встречался со Сталиным и не жалею об этом, но я вижу его, старого Сосо, насквозь. Мне представляется, что я угадывал каждое движение его мыслей, ощущал малейшие вибрации его сердца и тогда, когда он беседовал с Черчилем и Рузвельтом, и тогда, когда он заклю-

чал пакт с Гитлером, выторговывая при подписании этого документа половину Польши и Прибалтику, и что главное, толкал кедальновидного фюрера на страшную войну. Без согласия Сталина Гитлер никогда не решился бы на такую авантюру. Только обеспечив себе тыл с Востока, он мог рассчитывать на какой-либо успех. Расчет у Сталина был прост: пусть сталкиваются лбами «капиталистические страны». от этого он только выиграет. Лишь бы только зажечь пожар мировой войны! Он ведь помнил слова Ленина о том, что если первая мировая война нам дала Россию, то вторая даст Европу. А имея Европу, он станет хозяином всего мира!

После победы над Германией Гитлера слава Сталина достигает небес, он непогрешим во всех областях человеческой жизни: в политике, в экономических вопросах, в военном деле, в науках, в искусствах и т. д.

Но спрашивается, что нового, оригинального создал этот человек, приравнявший себя к «Богу»? Даже на поверхностный взгляд становится очевидным, что режим, созданный Сталиным, почти копия порядков, существовавших еще 4.000 лет назад в Китае и Египте, когда все живое и мертвое в государстве, включая человека, принадлежало государству и его высшему представителю — императору в Китае и фараону — в Египте. Но эти порядки были освящены правосознанием той эпохи, и глава государства, получая свое божеское право свыше, обязан был заботиться о своих подданных.


Есть еще одна сторона в системе Сталина, которая существенно отличает ее от, скажем, Китая времен императоров. Огромная территория Китая была обнесена стеной — не железным занавесом, как «царство социализма», а настоящей почти в две тысячи километров стеной, которая действительно охраняла страну от вторжения врагов. Само государство было сугубо миролюбивым по отношению к внешнему миру. Благополучие государства было самоцелью. Сталинская государственная система, вся хозяйственная деятельность: постройка фабрик, заводов, создание трестов, громадных комбинатов, проведение дорог и каналов, вся культурная и научная работа — лишь средство для достижения основной его цели: победы в тяжбе двух миров — старого и нового.

Самой характерной чертой Сталина надо считать его, не ограниченный ничем, фанатизм. Но фанатизм его не импульсивный, как у Гитлера. Сталин умел сдерживать себя, но никогда не упускал из виду главную свою цель: свалить, уничтожить существующий строй современного общества. Заметим,

не перестроить существующие социально-политические отношения, а именно, уничтожить и, если возможно, физически истребить главных представителей его. Власть, и при том неограниченная, нужна была ему для этой главной цели. Хотя он отлично сознавал, что стремясь к конечной цели, он получал саму власть.

В мире нет и не было ни одного политического строя более слабого, более уязвимого и менее устойчивого, чем сталинская власть, ибо она антинародна, антинациональна, антисоциальна.

1947—1956 гг.



МОНОГРАФИЯ ОБ АВЕТИКЕ ИСААКЯНЕ

Изучение взаимосвязей литератур народов СССР с Россией до сравнительно недавнего времени велось несколько односторонне. Наши исследователи рассматривали главным образом отношение представителей русской культуры к тем или иным республикам, не уделяя должного внимания другой стороне данной проблемы — отношению писателей этих республик к России. Работ, скажем, типа «Армянский писатель и русская действительность» гораздо меньше, чем работ типа «Пушкин и Армения». Мы имеем целый ряд ценных монографий и исследований, специально посвященных изучению отношения русских писателей к той или иной республике, инонациональной теме в их творчестве, их пребыванию в той или иной стране, связям с представителями местной общественности и т. п. К сожалению, аналогичных монографических исследований, специально рассматривающих общественно-культурные связи представителей национальных литератур с Россией, их влияние на русскую литературу и т. д. не так уж много. Пришла пора (сегодня это звучит особенно актуально) уделить должное внимание и изучению второй стороны проблемы. Но я был бы несправедлив, сказав, что это изучение не ведется. Почти в каждой работе, посвященной выдающемуся национальному писателю, в той или иной мере рассматриваются и его связи с Россией (сегодня никто не изучает национальные литературы изолированно). Однако, повторяю, специальных исследований, освещающих весь комплекс вопросов, связанных с отношением национальных писателей к России, мы имеем пока что мало. Поэтому каждое новое

* Авик Исаакян, «Аветик Исаакян и Россия», «Советский писатель». Москва, 1988. с. 299.

исследование в этом направлении не может не вызывать интереса как в отношении конкретного материала, так и с методологической точки зрения. Не составляет в этом отношении исключения и монография А. В. Исаакяна «Аветик Исаакян в России».

Разумеется, автор рецензируемой книги не является первооткрывателем данной темы. Об Аветике Исаакяне писали Ю. Веселовский, А. Блок, В. Брюсов, Н. Тихонов, А. Фадеев, П. Антокольский, К. Чуковский и др. Многие важные аспекты связей армянского поэта с русской литературой исследовали Л. Мкртчян, К. Григорьян и др. Однако известно и то, что до сих пор не создана научная биография Аветика Исаакяна, летопись его жизни. Нет также работы, охватывающей все многогранные аспекты взаимоотношений поэта с русской литературой, Россией. Теперь этот пробел в значительной мере может считаться восполненным рецензируемой монографией, первый раздел которой охватывает почти весь жизненный путь Аветика Исаакяна.

Книга написана не только известным исследователем, но и внуком прославленного армянского поэта, что и предопределило ее специфику. В частности, рассматривая в первом разделе книги биографию Аветика Исаакяна, автор впервые привлекает не только документы из исторических архивов, малоизученные статьи и рецензии поэта, но и обширнейшие материалы из семейного архива (дневниковые записи, странички из записных книжек, варианты и черновики художественных произведений, книги личной библиотеки, воспоминания и т. д.).

Не менее интересен второй раздел книги, где также с широким привлечением неизвестных или малоизвестных материалов рассмотрены такие вопросы, как история русских переводов поэзии Аветика Исаакяна, Исаакян и Лермонтов, Исаакян и Л. Толстой, Исаакян и Блок, Исаакян — переводчик русской литературы, Исаакян о русской литературе.

Сравнительно-типологический метод, избранный автором, позволяет определить многие художественно значимые грани соприкосновения творчества Исаакяна с русской литературой, осветить ряд вопросов типологии романтической поэзии, переводческого мастерства и т. д. и в то же время выделить национально-самобытные начала его искусства.

Хотя рецензируемая книга посвящена главным образом взаимосвязям творчества Аветика Исаакяна с Россией, в ней определенное место отводится и Грузии. И это не удивитель-

но, ибо многие страницы жизни и творчества армянского поэта были тесно связаны с нашей страной.

Еще во вступлении автор подчеркивает, что Аветик Исаакян «через русский язык познал» грузинскую литературу. что «именно на русском языке Исаакян читал произведения Руставели и... Бараташвили».

В книге рассказывается о литературном объединении «Вернатун» («Мансарда»), созданном группой передовых армянских писателей и деятелей искусства в Тбилиси (одним из учредителей объединения был вернувшийся из ссылки Аветик Исаакян), которое собиралось на квартире Ованеса Туманяна, о книге Аветика Исаакяна «Песни и раны», изданной в Тбилиси (1908), о рассказе «Шакро Валишвили», о стихотворении «Песнь о хлебе», о частях поэмы «Абул Ала Маари» и других произведениях Аветика Исаакяна, опубликованных в тбилисских изданиях «Арач» («Вперед»), «Гехарвест» («Искусство»), о книгах тбилисских поэтов Н. Реулло (Мзареулов) «Переводы из армянских поэтов» (1916) и «Армянские поэты в переводах С. Я. Шарти» (1917), в которые вошли русские переводы творений Аветика Исаакяна и т. д.

Рассказывая об аресте в декабре 1908 года в Тбилиси 160-ти известных армянских писателей и деятелей культуры (в том числе и Аветика Исаакяна), автор впервые публикует интересные материалы, обнаруженные им в Центральном государственном историческом архиве Грузинской ССР, а также не известные ранее тбилисские дневниковые записи поэта, содержащие важные сведения о жизни и деятельности не только Аветика Исаакяна, но и его соседа по метехской тюрьме Ованеса Туманяна. Многочисленные рапорты жандармов, протоколы обысков, списки конфискованных книг и предметов, доносы агентов охраны, различного рода жандармские предписания, приведенные в книге, позволяют глубже осмыслить тбилисский период жизни и деятельности Аветика Исаакяна (1908—1911 гг.).

В конце июня 1911 года Аветик Исаакян нелегально выехал из Тбилиси за границу. Начались долгие годы эмиграции. На родину поэт вернулся лишь осенью 1926 года через полюбившийся Батуми. Проезжая по Грузии, он записал: «Я прислушивался к веселым голосам пассажиров, елушал грузинскую речь, так много говорившую моей душе. Я жалел, что не понимал грузинского языка, и обвинял себя в том, что не изучил его...» Отдавшись воспоминаниям, Аветик Исаакян «перебирал в памяти знакомых грузин и представлял себе

каждого в отдельности, где и когда с ним встречался... Вспоминал книги о Грузии, которые прочитал, произведения грузинских писателей. Воображение рисовало огненного Мерани Бараташвили, в устах звучал орлиный клекот стихов Важа Пшавела, а грудь наполнялась дыханием романов Казбеги. В душе ожили мелодии грузинских народных песен».

В рецензируемой книге говорится и о пребывании Аветика Исаакяна в 1929 году в Тбилиси, Ахалцихе и Телави. В 1930 году Аветик Исаакяни вновь выехал в Европу, где в 1935 году в Париже встречался с Галактионом Табидзе, приехавшим туда на Международный антифашистский конгресс «В защиту культуры». В 1936 году Аветик Исаакян через Батуми и Тбилиси окончательно вернулся в родную Армению. В этот период его произведения начинают переводить на грузинский язык Г. Леонидзе, И. Гришашвили и другие грузинские поэты. В книге говорится и о любви Аветика Исаакяна к грузинской литературе. В этой связи вызывает интерес дневниковая запись, датированная 1893 годом: «Вчера прочел сборник «Грузинские поэты», мне очень понравилась поэма Ильи Чавчавадзе «Отшельник». Некоторое время спустя Аветик Исаакян писал: «Элгуджа» Казбеги заставил меня еще больше полюбить грузин, и благодаря ему Грузия и грузины стали для меня родными». А в 1947 году в письме к Л. Меликсет-Беку подчеркивал: «Есть поэты, которых я очень любил и люблю — Байрон, Гейне, Мицкевич, Лермонтов, наряду с ними Н. Бараташвили. Моей поэме «Абул Ала Маари» очень близки «Чайльд Гарольд» Байрона, «Фарис» Мицкевича и «Мерани» Бараташвили, они близки моим собственным настроениям: здесь есть духовное родство».

Разумеется, я привел не все «грузинские пассажи» из книги А. В. Исаакяна. Однако, думается, и они убедительно свидетельствуют о том, что книга будет интересна не только русским, но и грузинским читателям.

В наши дни, когда вопросы межнациональных отношений привлекают самое широкое внимание, книги, подобные монографии А. В. Исаакяна, помогают глубже осмыслить истинный характер и природу этих отношений, выявить то основное, что их характеризует, тот фундамент, на котором они строились, то магистральное направление, по которому они исторически развивались.

Игорь БОГОМОЛОВ





Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Ремаз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили
Корректор Т. Бадриашвили

Сдано в набор 29.05.90 г. Подписано к печати 20.08.90
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать
высокая. Печ. л. 7.0. Усл. печ. л. 11.97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж
7.300 Заказ 1254. Цена 65 коп.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться
типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки
доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.
Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная
— 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства
ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Костава, 14.

6.87 / 115
65 კ.

ИНДЕКС 76117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურული გრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», 1990, № 7, 1—224